

**СИН
ТАК
СИС**



25

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

25

ПАРИЖ

1989

Журнал редактирует :

М. РОЗАНОВА

**The League of Supporters: Л. Богораз, Т. Венцлова,
Ю. Вишневская, И. Голомшток, А. Есенин-Вольпин,
Д. Каминская, П. Литвинов, Ю. Меклер, М. Окутюрье,
В. Турчин, А. Френдли, Е. Эткинд**

**Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции**

© SYNTAXIS 1989

Адрес редакции :

**8, rue Boris Vilde
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE**

Бахыт Кенжеев

ПОСЛАНИЯ

1.

Любезный Радашкевич, извинишь ли мою необязательность? С годами все реже те волшебные часы, когда зажжешь свечу, перо очинишь — и доверяешь сумрачную душу листу бумаги, зная, что назавтра почтовый пароход его умчит в Европу милую, в морозные пределы Отечества... Знакомый коммерсант, не знающий по-русски, в ноябре поверишь ли? — повез меня в Россию работать переводчиком. Не стану описывать дорожных приключений, таможенных волнений, первых страхов... Купец мой добрый продавал завод по выпечке пшеничных караваев из теста замороженного (ты слышал про наши зимы, Радашкевич?). Представь картину — публика во фраках, при шелковом белье, при сапогах начищенных — социалисты ныне и впрямь переменялись! Твой покорный, надев передник белый, как заправский мастеровой, стоит у жаркой печи и раздает бесплатные буханки чиновникам, артельщикам, министрам... Мы жили в "Прибалтийской". Зябким утром авроры зимней скудные лучи там освещают бедные кварталы рабочего предместья, но прекрасен

залив ноябрьский — редкий белый парус
и чайки на пронзительном ветру...
До Невского оттуда, помнишь сам,
порядочный конец, но так извозчик
чудесно мчится, так Нева сияет
то серебром, то изумрудом, то
аквамарином! Впрочем, я привычен
к неярким этим, северным пейзажам,
не то что ты, парижский обитатель...
Кормили славно — но признаюсь, милый,
что две недели жирной русской кухни,
блины, икра и гречневая каша
мне, право, показались тяжелы.
Вернулся — и набросился на все
дары своей Канады, на бизонье
жаркое, кукурузные лепешки
(индейцы так пекут их, что и ты
одобрил бы), на черемшу, бруснику,
кленовый сахар, английское пиво...
Тем временем роман мой злополучный
был Германом Андреевым обруган
в известной "Русской мысли". Не ищу
сочувствия, мой славный Радашкевич.
Ты не поклонник прозы, ты навеки
привязан к странной музыке верлибра,
безрифменному строю тесных звуков,
к гармонии, что для ушей славянских
груба и непривычна. Не беда,
мой монархист. Поэзия, царица
искусств, готова у своих жрецов
принять любую жертву. Ей по сердцу
отважный поиск дерзких сочетаний
старинных слов. В садах ее роскошных
твоя "Шпалера", словно незаконный
цветок, выросла — и услаждает взор
высказательный. Скажу без ложной лести —
ты, человек другой эпохи, знаешь
толк в красоте, заброшенной, забытой
сегодняшними бардами. Прости,
что критика на книгу не готова —
я разленился с возрастом, мой милый,
знай пью вино да разъезжаю по
Америке, ищу неверный призрак
гармонии, надежды и любви.

Но иногда, в трясучем фазтоне
в горах Адирондака, у озер
зеленого Вермонта, раскрываю
твои стихи — и снова погружаюсь
в мир клавикордов, пыльных гобеленов,
и отдаленный музыкальный строй
чужой души, что настезь поутру
раскрыта ветру времени. Прощай же,
товарищ мой, и передай поклон
камням благоуханного Парижа,
которые ты топчешь на рассвете,
вполоборота глядя на восток.

2.

Привет тебе из северного града,
манхэттенская жительница! Окна
в моей квартире инеем покрыты,
трещит камин, с фонографа струятся
рождественские песни. С декабря
мы, милая, отрезаны от мира,
рабочие портовые без дела
сидят в пивных, а добрые хозяйки
уже на рынках выбирают самых
упитанных индеек. В эти дни
кто занят верховой ездой, кто
катается на лыжах, кто проводит
субботы за бильярдом, кто — за бриджем,
твоим ножом я разрезаю книги,
которые с последним кораблем
пришли из Петербурга, а порою —
мороз смягчится, вспыхнет пунш горячий
в хрустальной чаше, мысли, будто в детстве,
легки и беззаботны... К Рождеству
с оказией Цветков из Вашингтона
препроводил мне вечное перо —
то самое, которым эти строки
написаны. Лишь изредка, взглянув
на старую чернильницу, я вдруг
вздохну — а почему, не знаю.

А что у вас? На улицах вечерних,
при свете газа, музыка из окон
несется фортепьянная? Горланят

разносчики сосисок? Из гостиниц на улицу выглядывают грустно старухи в черных платьях? Пастухи из дальних прерий, в синих джинсах, так же дивятся небоскребам, и роняют широкополые смешные шляпы на мостовые? Ах, американцы! И горячи, и незамысловаты, и как-то слишком деловиты — но я чувствую завидную судьбу страны твоей, подружка... Новый Йорк еще затмит Москву и Петербург, Париж и Рим, и Лондон... а куда мне снится — ты выходишь из театра к разъезду, усмехаясь грубой драме провинциальной труппы, отпускаешь карету, с наслаждением вдыхаешь сырой, протяжный ветер с океана, плутающий в кирпичных — восемь, десять, а то и двадцать этажей — громадах, и старый номер "Русского богатства" из сумочки торчит. Бредешь одна, эманципе, и шляпка без вуали... А что кинематограф? В самом деле такая удивительная штука, как пишут монреальские газеты?

3.

Почтеннейший Моргулис, высылаю курьерской почтой рукопись, в надежде, что ты меня не проклял. Долго я с ней возился, и, в конце концов, когда с семейством в декабре на воды отправился, забрал ее с собою и попотел изрядно, исправляя где перевод, где — автора, который (признаюсь по секрету) простоват, к тому же слишком склонен в дверь ломиться открытую. Ведь нам с тобой и так, мой Михаил, доподлинно известно, что Иисус есть Бог, что этот тезис доказывать нелепо — если ты христианин, то книг тебе не нужно,

а коли уж безбожник — никакая
брошюрка в сто страниц не обратит
язычника в спасительную веру...
Ну, не сердись. Ты, знаю, убежден,
что там, в атеистических краях,
народ непросвещенный жадно ждет
напористых речей заокеанских,
которые мы в меру слабых сил
перелагаем на язык отчизны...
Вернулся с юга. Труд мой завершен.
И вот в сочельник еду я со службы
в омнибусе, купив жене в подарок
настойный канделябр, а сумку с текстом
засунув под сиденье. Зачитавшись
газетой либеральной из Москвы
(там смягчена цензура, вольнодумцев
освобождают, вводят суд присяжных,
купцам дают дворянство, и едва ли
не отменяют крепостное право),
я выхожу — а сумка и останься
в омнибусе! Моих истошных криков
не слышит кучер, и ни одного
извозчика в округе! Все пропало!
И корректура, и наброски пьесы,
и дневники, и письма! Рождество
омрачено — опять до поздней ночи
тоскую, правлю текст... а через две
недели — представляешь ли? открытку
прислал мне стол находок. Отыскался
мой долгий труд! Признаться, я подумал:
Вот нация, достойная своей
прекрасной королевы. В ежедневном
единоборстве с северной природой
нет времени у честного канадца
губить страну в пожаре революций,
гражданских войн и бунтов, разрушая
порядочность грядущих поколений...
Не потому ль, любезный мой Моргулис,
любая смута — в Азии ль, в Европе —
бросает человеческие волны
к гостеприимным этим берегам?
Ну, будь спокоен, милый. В третий раз
я книгу просмотрел, добавил новых
поправок, можешь сразу отдавать
типографу. Даст Бог, и вправду будет

в отечестве прочитан и оценен
заморский проповедник... До свиданья,
друг Михаил. С повинной головою
пора идти к ревнивым аонидам,
утратившим былую благосклонность:
уж больше года дикая Канада
не слышала моей угрюмой лиры.

4.

Мой добрый Милославский, с Рождеством
тебя Христовым. В нашем Монреале
на две недели позже свистопляски
коммерческой, когда католик честный
отпраздновал уже и Новый год,
и елку полувysохшую вынес
навстречу мусорной телеге, мы
его справляем тихо, без затей:
негусто с православными в Канаде,
и те, сам знаешь, больше ждут весны
и светлого Христова Воскресенья.
В газете из Парижа, доходящей
с изрядным опозданием, встречаю
твои статьи о храмах, о легендах
Святой Земли — а это значит, ты
благополучен — не убит арабом,
не выслан из державы иудейской
верховным раввином. Но, признаться,
скучаю по твоим рассказам, по
пространным, страстным письмам. Где
новеллы,
где твой роман заветный? Неужели
тебя, мой друг-прозаик, так смутили
реформы на Руси? Властитель дум
там ныне — журналист-разоблачитель,
экономист, умеющий расчислить
сравнительные выгоды оброка
и барщины, да автор престарелый
когда-то запрещенных откровений
двадцатилетней давности. Кипит
отечество, пристрастно выясняя,
насколько голым был король покойный.
Там, на полях литературных схваток,
один зоил клеймит другого, третий

провозглашает русскую идею,
обоих упрекая — то в мздоимстве,
то в верной службе прежнему тирану.
Теперь в народе новые герои —
ремесленник, купец, изобретатель,
единоличник. Бедные поэты!
Им впору хоть топиться, как писал
несчастный Баратынский. Но тебе
не стыдно ли, мой добрый Милославский?
Когда недобросовестный подрядчик
возводит храм на зыбком основанье
из скверного песчаника, и сам
находит смерть в развалинах, когда
всем миром по ассарию, по лепте
собрав, постановляют строить новый
похожий храм — смутится ли певец,
сжимающий возлюбленную лиру?
Литература выше перестройки,
мой Милославский. Даже если там,
на родине, соорудят хрустальный
Дворец Предпринимателя, ремесла
вдруг возродятся, в лавках зеленых
пахучей грудой лягут апельсины
из Палестины, новый Ломоносов
прославит просвещенного монарха —
я и тогда, чуть обернусь, увижу
твой страшный Харьков — мытарей, блудниц,
разбойников, в отчаянии жизнь
хватящих рукою перебитой,
и Сына Человеческого, молча
глядящего в слепые их глаза.

5.

Любезный Марк, из сонного Торонто
всего два дня письмо твое летело.
Морозным, ясным утром я, достав
из ящика его, решил на службу
чуть припозднится, чтобы прочитать
в кондитерской. Знакомый половой
мне улыбнулся, подавая слойку
и крепкий кофий. Местные красотки
в бобровых шубах бойко щебетали
за столиком соседним, и таким

уютом жизнь дышала. Парижанин
пускай смеется — в целом Новом Свете
нет города милей для либеральных,
ленивых жизнелюбцев, вроде нас
с тобою, Марк. Как жаль, что ветер
странствий
погнал тебя на запад, в цитадель
охотников, купцов, аристократов
сомнительных, чей громкий титул только
в Торонто и берут на веру. Впрочем,
в провинции карьеру сделать легче.
Ты начал скромно. Но учти, привратник —
первейший друг дворецкому, а тот,
не сомневаюсь, вскоре убедится,
что ты не так-то прост. Доложит графу,
ты станешь управляющим, а может,
и лучше. В министерстве я навел
кое-какие справки. Гордый граф
не чужд торговли, даже вхож в правленья
Компании Гудзонова залива,
а та как раз ведет переговоры
с посольством русским (видимо, в Оттаве)
о тульских ружьях, ворвани и об
уральском чугуне. Вот тут-то, милый,
и выйдешь ты на сцену — эмигрант
из тех краев, еще не позабывший
ни языка, ни азиатских нравов
отечества. Сумей же доказать,
что ты и впрямь в привратницкой камерке
случайно оказался, что когда-то
ворочал миллионами, что ныне,
когда социалисты поумнели
и зверем не кидаются на прежних
российских граждан, ты послужишь верой
и правдою любимой королеве...
У нас мороз. Страдаю инфлюэнцей.
Чай с медом пью, стараюсь обойтись
без доктора — боюсь кровопусканий.
Супруга сбилась с ног — мальчишка тоже
хворает, бедный. Как твое потомство?
Уже и зубки режутся, должно быть?
Забавны мне превратности Фортуны!
Давно ли в Петербурге, белой ночью,
стояли мы над царственной Невою

недалеко от Биржи, и давно ли
ты, честный маклер в черном сюртуке,
читая телеграммы, ликовал,
потом бледнел, потом, трезвея, тут же
спешил распорядиться о продаже
то киевских, то астраханских акций?
Мой славный Марк, в торонтской глухомани
любой талант заметнее. Ты молод
и негибаем. Отпрыск твой растет
молочным братом юного виконта.
Лет через пять, когда переберешься
обратно в Монреаль, и заведешь
открытый дом в Вестмаунте, явлюсь
к тебе на бал — и за бокалом брюты
уговорю, ей-Богу, учредить
стипендию писателям российским.

6. *

Прелестница моя, каков портрет,
какое платье! Прямо как живая.
А кто фотографировал? Супруг
законный, неизменный? Или дочка?
Ты мало изменилась, друг сердечный —
неугомонный, милый, жаркий взгляд
все так же неприкаян...

В Монреале
обильный снег, навоз дымится конский
на мостовых, у ратуши изваян
индеец ледяной, — у нас зима,
та самая, которой так тебе
недостает во Фландрии. На днях
читал стихи я в эмигрантском клубе.
Разволновался, сбился... наконец
поднял глаза. Поклонники мои
(семь стариков и две старухи) в креслах,
кто тихо, кто похрапывая, — спали.
Поднялся я, и вышел, улыбаясь
неведомо чему. Ах время, время,
грабитель наш. Бежать российских смут,
найти приют за океаном, спать
и видеть сны — не о минувшем даже,
а о подагре, лысине, одышке...
Дошел до моста. На реке застывшей

мучительно, нелепо громоздились чудовищные льдины. Экипажи скрипели, матерились кучера на пешеходов, жмущихся к перилам. В июне, в день святого Иоанна Крестителя, такие фейерверки устраивает мэрия! Народ толпится на мосту, кричит, теснится, и всякий год один-другой несчастный, конечно, тонет. Властная река уносит жертву развлечений. Что ж, не отменять же празднества...

Так значит, роман мой не удался? Не беда, он — плод другого времени, когда я был влюблен, порывист, бескорыстен, короче — юн. А юность простодушно рассчитывает, устранив преграды к предмету вожделий, насладиться означенным предметом. Я с тех пор узнал, моя голубушка, тщету стремленья к счастью, научился видеть не в будущем его, не в прошлом даже, а в настоящем — скажем, в духовом оркестре у реки, где конькобежцы катаются по кругу, в снегопаде рождественском, в открытке долгожданной от старого товарища. Об этом (а может, не об этом) всякий вечер, едва заснет мальчишка, а супруга садится за грамматику, в грессбухе, по случаю доставшемся, пишу я другой роман, не представляя, кто возьмет его в печать. Литература сейчас не в моде, милая. А впрочем — ты видела занятнейший отрывок в январском "Русском вестнике", за прошлый год? Славно пишет этот Достоевский. Фантастика (к примеру, там сжигают сто тысяч в печке), жуткий стиль, скандалы, истерики — а право, что-то есть. Герой романа, обнищавший князь, страдающий падучей, приезжает

на родину с идеями любви,
прощенья, братства и славянофильства.
Наследство получает — и с одним
купчишкою (кутилой, богачом)
вступает в бой на некую Настасью
Филипповну — хотя и содержанку,
но редкую красавицу, с душою
растоптанной — имеется в виду
Россия, надо полагать, дурная,
безумная и дивная страна...
Кто победит? Бог весть. Блаженный князь?
Гостинодворец? Или третий кто-то,
на вороном коне, с трубою медной
и чашей, опрокинутой на землю?

7.

Приветствую тебя, неповторимый
Дмитрий Александрович. Где бродишь,
где странствуешь? На бенефис в Нью-Йорке
послав тебе свой скромный сборник, я
не получил ответа... Неужели
не выдержал ты испытанья славой?
Что ж! От Караганды до Сан-Франциско
гремят твои пленительные строки,
стыдливые невесты преподносят
смущенным женихам твои холсты
перед волшебной ночью брачных таинств,
как символ высшего блаженства, Пригов.
Но, заслужив всемирный сей триумф
трудом, талантом, самоотреченьем,
не возгордись, художник. Не забудь
своей прискорбной участи при старом
режиме, ненавидевшем искусство,
когда бесстрашно мы одним молились
богам, и в зимних прериях канадских
нередко я в слезах припоминал
твои сонеты стройные, твоих
героев древних, подвиги свершавших
на красочных полотнах, в назиданье
изнеженному зрителю.

Ты был
едва ли не единственной опорой
великому призванью, что корнями

уходит в наше прошлое святое,
к Державину и Рокотову. Ныне,
когда заря над родиною встала,
и злые модернисты, словно бесы,
рассеялись, ты стал послом достойным
отечества, в развратном Новом Свете
вновь подтвердив свои права на титул
российского Монтеня.

Побежденный
учитель, умиленно наблюдаю
за быстрым, ослепительным восходом
твоей звезды, гласящей возрожденье
всего, что спит в измученной душе
изгнанника. Я слышал, ты сейчас
на родине Лукреция и Тасса —
волнуйся же в предвосхищенье первых
мазков суровой, вдохновенной кисти,
любуйся на Везувий, заноси
бестрепетным пером в бювар походный
наброски гармонических стихов,
достойных Гоголя... Он тоже так любил
Италию! Сжимая жаркий факел
поэзии, прими благословенье
канадца незатейливого. Пусть
ты позабыл меня, российский гений.
Жизнь коротка, а творчество бессмертно.
Всходи же, не колеблясь, на Олимп,
где муза ждет тебя с венком лавровым.

8.

Благодарю за весточку, мой Яков.
Мне пишут из отечества все реже,
свои у вас заботы — после долгих
десятилетий гнусной тирании
Россия, просыпаясь, созывает
сынов трудолюбивых, чтоб они
засеяли заброшенные нивы
отборным ячменем, перековали
решетки с кандалами на плуги
и паровые мельницы.

В Канаде,
затерянной в лесах, не понимают
восторженности вашей — не с властями

мы боремся, мой Яков, а с природой
неукротенной. Снежную зиму
бывает, дикий гризли похищает
младенца из коляски, ураган
с домов срывает крыши, алгонкины
воинственные, в перьях разноцветных,
грозят набегом буйным... Третий год
поражена страна моя жестокой
болезнью, Божьей карой, что с содомским
грехом передается. Мужеложцев
(их много здесь, по недостатку женщин)
не жалко, но и честный обыватель
подвержен страшной хвори. Доктора
в отчаянии. Девушки женихам
теперь не дарят даже поцелуев,
фривольностям, изменам наступил
конец, мой Яков. Новая чума
обрушилась на бедную Канаду.
Монахини смиренные — и те
не ходят за больными, опасаясь
заразы. Вечерами на санях
по городу провозят скорбный груз,
прохожие шарахаются, ставни
по очереди хлопают... Ах, Яков,
я так мечтал укрыться от скорбей
и рока беспощадного — но всюду
Господь напоминает нам о страшном
суде. И завсегда непотребных
портовых заведений, мореход
из Сан-Франциско, Лиссабона или
Архангельска, угрюмо пьет в таверне
свой горький ром, не соблазняясь боле
корыстными красотками. Вот так,
мой добрый Яков, Божье наказание
оздоравливает нравы...

До России
содомская еще не добралась
погибель. Ваш народ многострадальный
приучен к осторожности. И ты,
мой мудрый химик, преданный до страсти
естествоиспытательству, ночами
беззвездными у-вытяжного шкафа
мешаешь белый фосфор с мышьяком,
с толченой костью, с серным ангидридом,

и ставишь перегонный куб голландский
на масляную баню, наблюдая
за чередой чудесных превращений,
сулящих избавление от заморской
чумы. Я верю, нищая Россия
сумеет повторить свой древний подвиг,
когда славянский муж в стальной кольчуге
надежной стал твердыней на пути
безумных скифов...

Добрый мой профессор,
поторопись, а если будешь к лету
в Соединенных Штатах, доберись
до Монреаля, привези и нам
плоды самоотверженной работы,
чтобы смогла на площади Бобровой
воздвигнуть благодарная Канада
твой образ медный, с надписью по-русски
и колбою химической в руке.

9.

Мой Палисандр, ахейские вершины
покрыты снегом. Золотится гладь
эгейская. В безветрии застыли
рыбацкие суденышки. Горчат
зеленые оливки, сыр овечий
крошится на пастушеской лепешке,
и амфора двуручная полна
вином багровым. У твоих дверей
лавр шелестит, синееет можжевельник.
Мой Палисандр, мой чудный лирник, трижды
изганник, разжигая свой очаг
на острове, приюте диких коз
и вольных муз, нашел ли ты источник
живого вдохновения? Ночами
является ли в хижину твою
слепая тень Гомера? Напевая,
в крестьянских ты сандалиях восходишь
по горной тропке к храму Артемиды
и смотришь вниз, где юная Европа,
тунику скинув, плещется в заливе.
Счастливая Эллада! Ей в наследство
досталась власть притягивать певцов
всей ойкумены, даже из торговой
Америки, где скрежетом прядильных

машин и паровозными гудками
заглушены стенанья сладкой лиры.
Мой Палисандр, уже пятнадцать лет,
как из славянских сумрачных пределов
вернулся ты в Канаду, на свою
заснеженную родину — но вскоре
взлетел, подобно вольному орлу
с квебекской колокольни, приземлившись
в Америке, гнезде республиканцев
и атеистов. Страшную ошибку
ты совершил, певец, и заплатил
ужасною ценой. Твоя любовь
к британской королеве приводила
американцев в бешенство. Годами
ютился ты в затерянных ущельях
Вермонта, словно ссыльный, в Мичигане
промышленном, где древние леса
под топорами гибнут на потребу
каретника, в Манхэттене распутном.
Душа певца устала. Ты собрал
нехитрый скарб в мешок и отряхнул
постылый прах Америки от ног
натруженных. И пароход ревущий
увлек тебя в желанную Элладу.
Мой Палисандр, невольник вдохновенья!
Отчизна без тебя подобна дому
без алтаря. Неужто ты навеки
отверг дары отечества — лапту,
коньки острозаточенные, скачки,
хоккейные баталии? Забыл,
как поутру стреляли мы бромонтских
тетеревов, какого осетра
с каноэ ты пронзил своей острой
на озере Святого Иоанна?
Любимец Аполлона и Эрота!
Грущу по тем мгновеньям незабвенным,
когда, склонясь на долгие моления,
ты ударял волшебными перстами
по струнам верной лиры... Терпеливо
Канада ждет возлюбленного сына,
наследника Орфея, чтобы звуки,
божественные звуки новых песен
дыханьем солнца древнего согрели
доминион недоброго Борея.

10.

Дошла ли, Рональд, до тебя моя открытка из Флориды? Отчего же не отвечаешь? Впрочем, понимаю — ты устаешь, издатель молодой. То полночь с прекрасной Эллендеей стоишь в сыром подвале за машиной печатною, то у наборной кассы сгибаешься, безвестный просветитель... Лишь изредка, поношенный сюртук очистив щеткой от свинцовой пыли, сидишь в таверне, где звенят студенты бокалами, где пожилой тапер играет на разбитом пианино ковбойскую мазурку, да заезжий каретник из Детройта, экипаж рессорный сбыв удачно адвокату или врачу, тоскует за седьмым стаканом джина... Ах, мой милый Рональд, ночные наши буйные пиры не повторяются — я сумел расстаться с грехом своим. Напрасно зазывает меня трактирщик гнусный — никогда не заложу я больше ни отцовских часов с цепочкою, ни образка нательного. Опять читаю книги, хожу в свой департамент. К Рождеству усердие мое столоначальник отметил небольшими наградами и отпуском. Отсюда и вояж с семейством к морю. Трое долгих суток промаялись мы в поезде железной дороги, поражаясь, как огромна Америка. От лиственниц канадских до мексиканских кактусов она раскинулась, могучая держава, великодушно давшая приют десяткам тысяч беженцев российских. И, наконец, пред нами океан засеребрился! После Вашингтона чиновного и шумного Нью-Йорка так странно было видеть обнаженных детишек смуглокожих, крыши редких рыбацких деревушек, пеликанов,

летающих стай, с полными мешками под клювами... Наш постоянный двор, весь в пальмах и бананах, целый день веселые торговцы осаждали и рыбаки. Один тебе омара протягивает страшного, другой — акулу свежепойманную, третий — жемчужину, добытую на дне тропического моря... Ты слышал ли о Мики-Маусе, Рональд? Христианство до этих мест еще не добралось, туземцы поклоняются большому мышонку с человеческим лицом. Жрец низкорослый, в полотняной маске мышиной, и оранжевых штанах, с доверчивых креолов собирает положенную дань — а в воскресенье, бывает, Рональд, целый сонм богов языческих беснуется в округе, бьют в барабаны, крикают и лают нечистые чудовища, лишь к ночи расходятся, и ласковое солнце садится в океан темно-багровый... Ну, до свиданья, друг мой, до свиданья. Жду в гости — только виски из Кентукки, британский джин и хлебное вино оставь в своей квартире холостяцкой. И знаешь что? Не брал бы ты в дорогу романов современных. Захирела литература русская. Возьми зачитанного Битова, Цветкова, Жуковского. Наговоримся всласть о прелестях словесности старинной.

11.

Привет тебе, печальный пересмешник российского Парнаса. Догорает в настольной лампе керосин, пора зажечь свечу, и лондонских чернил в чернильницу долить. С таким трудом даются даже письма! Неужели ржавеет дар мой, отлученный от наречия московских улиц? Или вторую революцию в России

и вправду не понять обломкам первой?
Утратили мы трепетную связь
с отечеством неласковым. Восторги
при чтении отважных откровений
в журналах петербургских — миновали,
как первая любовь. Февральский воздух
неумолим и вязок. Всякий год
об эту пору я до поздней ночи
сижу над ветхим Пушкиным, курю
изгрызенную трубку... тишина —
хоть бей посуду... только ветер поздний
свистит в трубе, трещат дрова в камине,
да сани с подгулявшим седоком
вдруг проскрипят под фонарем чадящим...
Где ужас мой, где нежность? Потоскую —
и спать ложусь. Корзина для бумаг
полным-полна. Ты тоже инородец,
признайся, мой Тимур, тебе не страшно
слагать стихи на русском языке?
И гибок он, и жарок, как больная
красавица, и мясом человеческим
питается, и ненавистью так
пропитан, что опасно прикоснуться
к его шипящим звукам — если только
не промышлять гражданственною скорбью,
игрой в шарады, или кисло-сладкой
серьезной прозой. В мгlistом Петербурге
социалист сквозь зубы признается,
что не построил рая на земле.
Америка залечивает раны
военные, вчерашний черный раб
поет свободу, посвящая лиру
ремеслам и коммерции. Европа
разнежилась в комфорте, наслаждаясь
спокойной старостью. Моя Канада
укрылась пледом, пьет у очага
домашний эль, читает календарь
за прошлый год. Гармония, Тимур,
вещь редкая и очень дорогая,
засим и спрос (читай хоть Карла Маркса)
ничтожен. Процветает ли народ,
бунтует ли, — ему не нужно плясок
перед ковчегом Ветхого завета,
тем более — перед чикагской бойней
иль памятником жертвам декабризма...

Старею, зубоскал мой благородный.
Все реже вижу чистые созвездья
над городом затерянным моим,
ворчу на эмигрантские журналы
(включая даже "Колокол") — стихи
в них так же смехотворны, как в российских.
Но вот на днях пришла с февральской почтой
твоя поэма — как она попала
к издателям? — и восхитился я
нежданной этой музыкой — алмазом
по зеркалу кривому, по стакану
трактирному, по небу голубому...
Прислал бы экземпляр — да опасуюсь,
при всех реформах новых, искушать
недремлющих блюстителей культуры.

12.

Вот и весна, историк, искушенный
в искусстве красноречия, ночной
побежке звезд над старым переулком
и хрусте льда под сквозняком апрельским.
Журчат ручьи по гулким мостовым,
звенят колокола, грядет суббота,
когда со всей Москвы мастеровые
мещане и чиновники неспешно
на кладбище пойдут со всем семейством —
прибрать могилы, помянуть стаканом
смирновской водки дедов и отцов...
Уже, наверно, франты молодые
в дурацких котелках, по новой моде
слоняются бульварами. Поэт,
чуть улыбаясь, смотрит с постамента
чугунного... а глупые студенты,
хихикая, перевирают строки
про милость к падшим... подлая цензура
и здесь успела — даже после смерти
не убежал твой славный соименник
из лап ее...

Жизнь близится к концу,
но, слава Богу, есть еще иные
лихие корабельщики. Поют
они и плачут, восхищаясь ветром
в тугих снастях, и бешеной лазурью
на сколько хватит взгляда...

Неизменно
и море, и корабль — лишь времена
меняются, да так, что не узнаешь.
Трибун опальный неумемной речью
сторонников сзывает — и напрасно
скрипит зубами отставной полковник —
в Якутск его, в Тобольск! Поди, попробуй —
на улицы Москвы толпа такая
немедля хлынет — с дрекольем, с булыжным
оружием, чтоб защитить любимца
народного, мятежного Бориса.
А Михаил каков! А каковы
литовцы и чухонцы, Александр!
А буйные защитники природы!
Дай волю им — останется Россия
без рудников и фабрик, без железных
дорог и пароходов...

Хорошо
в стране, когда смягчаются законы
и власти просвещенные дают
страстям народным вольно изливаться!

Не спрашивай, зачем я не сажусь
на пароход, не вглядываюсь в майский
туман над Амстердамом, по пути
на родину...

В тяжелом макинтоше
я прохожу сквозь старый город — банки,
лабазы закопченные, дома
терпимости — к проснувшемуся порту.
Лед сходит. Словно черный муравей,
буксир пыхтящий медленно толкает
потрепанный корабль из Петербурга,
и моряки усталые дивятся
зевакам, попивающим винцо
на столиках у пирса. Я и сам
с охотой пью за молодость чужую,
за ненадежный путь землепроходца,
и подымаю воротник — а ветер
подхватывает чаек, уходящих
с протяжным криком в пасмурную высь.

Монреаль, 1889

Петр Вайль и Александр Генис

КНИГА О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

Среди множества кулинарных книг, которые прошли через наши руки за многие годы теоретического и практического интереса к еде, одна всегда занимала привилегированное место. Это — «Книга о вкусной и здоровой пище». Та самая всем известная поваренная книга, которую некогда дарили невестам на свадьбу. Многие, наверное, пользуются ею и сегодня. И уж наверняка каждый, кому за тридцать, помнит ослепительные фотографии на форзацах: праздничный стол в двух вариантах — закусочном и десертном.

Книга, вышедшая в свет в 1952 году, осталась одним из немногих памятников сталинской эпохи. Забыты фильмы и книги тех времен, спрятаны в запасники картины, сломаны статуи, переименованы города и улицы, но вот «Книга о вкусной и здоровой пище» все еще передается по наследству от одного поколения к другому. Наряду с метро и балетом, она донесла до наших дней дух и форму сталинского классицизма, а — главное — мировоззрение общества, с которым сегодня так решительно расплевывается перестройка.

Надо сказать, что характер исторического свидетельства этой книге придает как раз разгул гласности. Сейчас мы вспоминаем о ней именно потому, что разоблачительный пафос советской прессы достиг того порога, при котором душе просто

необходимо отдохнуть на чем-то бесспорно положительном — скажем, на заливном поросенке.

Видимо, в России дефицит позитива ощущается куда острее. Поскольку заполнить дыру, оставшуюся на месте вечного праздника, нельзя картинами сегодняшней жизни, в ход пошла история (не в том ли секрет успеха самого популярного в СССР писателя Пикуля?). Давнее прошлое, являющееся в роскошных одеяниях, должно хоть как-то уравновесить прошлое недавнее, не говоря уже о безрадостном настоящем и более чем сомнительном будущем. Этим, например, отличается общество “Мемориал” от общества “Память”. (Занятно, что организационно-антагонисты выбрали себе в название два варианта одного понятия — в русском и иноязычном облики). “Мемориал” вспоминает плохое, “Память” — хорошее.

Однако, и “История” Карамзина и синеокие русичи Глазунова рисуют облик той России, которую уже некому сравнивать с реальностью.

В то же время “Книга о вкусной и здоровой пище” (сократим ее название в духе охочей до аббревиатур эпохи — КВЗП) характеризует время, память о котором не только не иссякла в народной жизни, а наоборот, все чаще возникает в сознании современников в качестве подлинной — в противовес “неоогоньковской” — правде о сталинской России.

КВЗП может служить сильным аргументом в пользу многомиллионной Нины-Андреевой, которая, уподобившись гидре, каждый раз отращивает новую голову взамен усеченной либералами.

В определенном смысле, КВЗП — противоположность “Архипелага ГУЛаг”: только окончательная дискредитация первой откроет путь к торжеству последней. Конечно, все время следует помнить, что одна книга лжива, а другая правдива. Но ведь ложь и правда не абсолютные категории. И если есть лагерная Россия Солженицына, то где-то, пусть лишь в болезненно-ностальгическом сознании, есть и Россия кремлевских банкетов, “Кубанских казаков” и известного афоризма “Жить стало лучше, жить стало веселее”.

Брезгливо отвернуться от той картины божественного изобилия, которую нарисовала КВЗП, нельзя просто потому, что этого не делают многие советские люди, о чем и свидетельствует почта того же “Огонька”.

КВЗП дает нам шанс реставрировать мироощущение эпохи, о которой сейчас столько спорят. Попробуем отнести к КВЗП как к историческому документу, помня, что книги, в том числе и кулинарные, следует оценивать в той системе координат, в которой они созданы. Не искренность авторов важна, а тот способ, которые они избрали для ее преодоления.

Конечно же, несмотря на все признаки обычных кулинарных книг — рецептура, описания технологических приемов, иллюстрации — КВЗП преследовала, как и всякий артефакт сталинской культуры, отнюдь не только утилитарные цели. Книга эта символична и метафорична. Это — энциклопедия советского образа жизни, где процесс приготовления пищи стал символом преобразования мира по мудрому плану-рецепту. Каждое блюдо, описанное в книге — метафора полноты и разнообразия социалистической жизни, гармонизированной в тщательно взвешенном меню.

КВЗП, вышедшая в канун смерти Сталина, стала итоговым монументом осуществленного идеала. На первой же странице она постулирует одновременно и цель общества и его нынешнее состояние. "К изобилию!" — так называется предисловие, напечатанное на фоне фотографий, иллюстрирующих этот призыв: булочные, ветчинные, колбасные, консервные, сырные, фруктовые, овощные штабеля.

Ясно, что плодородие страны, выраженное в богатстве ассортимента, о котором до сих пор вспоминают посетители Елисейевского гастронома сорокалетней давности, есть следствие политики партии и Сталина. Но КВЗП не только пропаганда достижений революции. Райская жизнь, которую она изображает, — результат всего многовекового пути России. (Отсюда — постоянные экскурсии в национальную гастрономическую историю.) Изобилие материальное — следствие духовных поисков всех предыдущих поколений. Сумма исторических чаяний выразилась "весомо, грубо, зримо" — в роскошно накрытом столе. В России история знала, что делала — она вела народ к вершине пирамиды, где его и застала КВЗП. От кваса к шницелю, от Ивана Грозного к Петру Великому, от капитализма к социализму, путь России — дорога беспрестанных побед. КВЗП запечатлела высшую точку историософской модели, в которой история подходит к своему великому финалу — коммунизму.

Самосознание сталинского общества как праздничный

итог всемирной истории — вот главный тезис, идейно-тематическое ядро книги.

Естественно, что основной конфликт КВЗП — иногда скрытый, а иногда и вырывающийся наружу вызов Западу. "Социализм освободил наш народ от действия волчьих законов капитализма, от голода, нищеты, хронического недоедания, от необходимости приспособлять свои потребности и вкусы к самому примитивному ассортименту продуктов".

Тем, кому приведенная цитата покажется нехарактерной гиперболой, можно напомнить, что задолго до написания КВЗП Юрий Олеша говорил, что каждая порция мороженого наводит на печальные мысли об американских детях, которые могут только мечтать об этом лакомстве.

Характерно и то, что эта кулинарная энциклопедия полностью игнорирует гастрономический опыт остальных стран, даже братских. Советский народ самодостаточен во всех отношениях — ему нечего заимствовать за рубежом. СССР, как фантастический остров утопистов, — земля с молочными реками и кисельными берегами. По сути — это планета сама по себе, не нуждающаяся в соседях. Кулинарные книги 60-х заполнены заграничными рецептами. Но в КВЗП нет места оттепельным приметам — каким-нибудь шпекачкам или салату-жаки. Экзотика не переходит государственной границы.

Поскольку единственным художественным течением сталинской культуры был классицизм, то и КВЗП написана в соответствующем бескомпромиссно-дидактическом стиле. Она всегда обращается к читателю в повелительном наклонении: "Посыпайте готовые блюда укропом!"

Вместо обычного для кулинарных сочинений легкомыслия и добродушного юмора здесь царит основательная серьезность: "Питание является одним из основных условий существования человека".

КВЗП не оставляет простора для фантазии хозяйки. Рецепт жестко увязан в схему, расписанную в духе Госплана по временам года и дням недели. Например, обед в весеннее воскресенье: "Теша белорыбья, суп из щавеля, вареники с творогом, воздушный пирог". И так на всю пятилетку.

В русле того же классицизма выбран и архаический жанр КВЗП. Это — некая универсалия, органон, исчерпывающий перечень сведений, книга на все времена, рассчитанная на переиздания, а не на дополнения, изменения, переработку.

Героем КВЗП (чтобы закончить с категориями литературоведческой классификации) является Союз Советских Социалистических Республик, адекватным образом которого стала совокупность национальных кухонь, впрочем, составляющих лишь пряную приправу для описания кулинарии старшего брата — России.

Главное достоинство КВЗП, качество, выводящее книгу далеко за пределы гастрономического пособия — гордое осознание мощи родины, уникальности ее истории и географии, бесценности того сокровища, которым является в книге советская государственность.

Вопреки всем традициям, КВЗП трактует кухню не как частное семейное дело, а как важнейшую функцию правительства — обеспечение “постоянно растущих материальных и культурных потребностей общества”. Государство в КВЗП — кормилец народа. Хлебозаводы и консервные фабрики, “славный траловый флот” и чайные плантации, винодельческие комбинаты и кондитерские цеха — вся эта сугубо централизованная, технически совершенная пищевая промышленность представлена в книге как гарант высокого уровня жизни. Не зря в иллюстрациях всегда подчеркивается марка изделия. Что бы ни было изображено на картине — бутылка томатного соуса, пачка “Геркулеса”, банка компота — на переднем плане оказывается этикетка, подробно рассказывающая о ведомственной принадлежности продукта: “Овсяные хлопья Московского ордена Ленина пищевого комбината имени Микояна”.

При помощи этого незатейливого, но последовательно использованного приема авторы книги декларируют: вся еда в стране принадлежит государству. Неудивительно, что на четырехстах страницах большого формата ни разу не упоминается колхозный рынок.

В целом “Книга о вкусной и здоровой пище” создает красочный образ страны-монолита. Конечно, нелепо искать в КВЗП отражение реальной жизни, но неправильно было бы видеть в ней и будущий идеал, вроде Третьей программы КПСС. Хрущев отодвигал изобилие в будущее, пусть и близкое. КВЗП помещала изобилие в контекст сегодняшнего дня.

И все же эта книга — не образец для подражания, как думали те, кто пытался имитировать свои праздничные застолья по иллюстрациям к книге КВЗП — это именно образ сталин-

ской эпохи, к которому следует относиться, как, скажем, к египетским пирамидам.

Пирамида — это застывший в вечности символ государственного величия, чистая идея, запечатленная в абстрактных геометрических формах.

Контрастный масштаб — человек и пирамида — сохраняется и в КВЗП. Была ли в продаже белорыбица — вопрос неуместный, так как магазины из КВЗП принадлежат государству идеальному, а не реальному. Важно, что белорыбица есть вообще, а не в отдельно взятой торговой точке. Ведь и пирамиды, возводившиеся для конкретных фараонов, принадлежат в то же время всем египтянам на всем протяжении истории.

Универсальный, мифологический характер КВЗП сейчас уже не ощущается так четко и остро. По-настоящему эта книга может быть понята только внутри знаковой системы тоталитарного общества. И дело не в том, что нынешний читатель без словаря не узнает, что такое "вязига". Главное — в другом: хрущевские разоблачения навсегда развалили абсолютное единство государства и общества, продуктом которого и являлась "Книга о вкусной и здоровой пище".

Перестройка лишь декретировала то, что началось на поколение раньше — процесс отчуждения правительства от народа. Из чего на самом деле складывался рацион советского человека сталинской эпохи, мы толком не знаем (правдивых статистических данных нет), зато хорошо известно, благодаря КВЗП, из чего он должен был состоять.

Гласность такого ориентира не знает. Вернее, она пользуется чужим, западным ориентиром, сравнивая, например, потребление мяса в США и в СССР. Отсюда — ощущение обмана. Государство по-прежнему вынуждено выполнять роль всеобщего кормильца, но теперь это — плохой кормилец, скупой, нерадывый, преступно беззаботный. Это оно, государство, гноит мясо, отравляет овощи нитратами, разбавляет молоко и попросту съедает народную долю.

То есть, общество, переставшее быть тоталитарным, по-прежнему требует тотальной заботы от правительства. (Лишь каждый седьмой в стране разделяет западническую концепцию рыночного хозяйства. Треть населения относится резко отрицательно к кооперативам, которые как раз пытаются присвоить себе функцию государства — кормить народ.)

Прорабы перестройки, требующие от правительства разделить с ними власть, неизбежно вынуждены делить и ответственность. Однако гораздо большей популярностью пользуется идея дележа не власти, а материальных благ, в первую очередь — еды, принадлежащей руководству. Слава Ельцина основана на обещании отмены партийных пайков. Если государство не может обеспечить всех пищей, то пусть хотя бы отдаст ту, что само съедает.

Гласность пытается компенсировать нынешнюю экономическую разруху картинками сталинских преступлений. Но никакие кошмары не мешают людям с тоской вспоминать концепцию идеальной структуры общества, нашедшую выражение в той же КВЗП.

В самом слове "перестройка" заложена пагубная мысль о конечности процесса реконструкции страны. В принципе перестройка — разновидность какого-нибудь Днепрогэса, БАМа или электрификации. Как бы ни трактовали политический смысл перестройки, это всегда — проект преобразований, результатом которых будет что-то хорошее и постоянное. Правовое государство, рыночная экономика, восстановленное человеческое достоинство — а в конечном счете изобильная, правильная, здоровая жизнь, уже достаточно ярко описанная в книге, которую мы так настойчиво описываем.

Хотя перестройка часто называет себя демократизацией, в фундаменте ее лежат тоталитарные, а не демократические представления. Ни одно западное государство не объявляет своих целей, ни одно не обещает, что та вечная "перестройка", которой здесь и является политическая жизнь, придет к какому-то славному финалу. Западная "перестройка" закончится не может в принципе, от советской — только того и ждут. На Западе историю понимают как процесс без результата, что в России ощущается как подлое нарушение "общественного договора" народа с правительством.

Поэтому и гласность воспринимается как явление экстраординарное, временное, необходимое лишь в смутный переходный период. Мало кто в России согласен обречь себя на вечное чтение мрачных статей и репортажей.

На Западе же "гласность" — такая же вечная и постоянная примета жизни, как и "перестройка". Американские газеты ежедневно заполнены ужасами — СПИД, преступность, наркоти-

ки, коррупция. В девяти из десяти случаев новости — что-то плохое. Норма не является событием. Кто же станет читать об успехах хлеборобов огайщины?

Советский человек, несмотря на всю свою страшную историю, живет в менее драматических декорациях, чем житель Запада, который знает, что мир несправедлив, и вынужден справляться с этим знанием в одиночку, с минимальной помощью в общем-то нейтрального правительства.

Опыт советской жизни создал представление о преодолении любого кризиса. В глубине общественного сознания хранится мысль об исправлении ошибок. Военный коммунизм, коллективизация, сталинский террор, антиалкогольная кампания — что бы ни было плохого в советском прошлом, все можно зачеркнуть и начать сначала, утя, естественно, опыт. Любой кризис есть случайное или преступное отклонение от плана, от идеального бескризисного существования.

Но на Западе кризисы — естественная и неизбежная часть жизни. Их преодолевают, к ним готовятся, от них не надеются избавиться. Никакое экономическое процветание, никакая политическая стабильность не гарантирует общество от потрясений. Отделить добро от зла так же невозможно, как отделить лицевую сторону листа от обратной.

Именно неготовность советского народа к принятию этой жестокой аксиомы заводит в тупик либеральных идеологов перестройки. Их модель реформ с точки зрения логики — единственно возможная, но она неизбежно приводит к торжеству сильного над слабыми и тем разрушает основу советского строя. Вся традиция российской духовной культуры требовала быть на стороне слабых, сырых и несчастных. А лидеры перестройки пытаются принести слабых в жертву сильным.

Та перестройка, за которую ратуют лучшие экономисты страны, может быть, и выведет Россию из хозяйственного кризиса, но тут же ввергнет ее во все ужасы "капитализма периода первоначального накопления". И никакой опыт социальной помощи, смягчающий нравы Запада на протяжении столетий, не поможет проигравшим. Это поняли в Китае, где перестройка, начавшись на пять лет раньше, уже принесла свои и сладкие, и горькие плоды. Так что не случайно на лозунгах пекинских студентов, сражавшихся за демократию, появились старые цитаты из Мао...

Любые разумные реформы означают для России не светлое будущее, а низвержение в реальный мир кризисов, неравенства, несправедливости. И, конечно, не с Соединенными Штатами следует равнять Россию, а с Третьим миром, с какой-нибудь Бразилией или Мексикой.

Стоит ли после этого удивляться, что программа, обещающая столь суровое будущее, не пользуется единой поддержкой.

Не стоит удивляться и тому, что Нина Андреева, которую самиздатский сатирик ввел в политбюро 2000-го года, кажется многим единственной альтернативой безжалостной доктрине либералов. Мечта Нины Андреевой — вернуть государству всю полноту власти, обменяв ее на душевный комфорт общества, вновь осознавшего себя монолитным единством. Не свобода, а братство, не достаток, а равенство, не разнообразие, а цельность, не личность, а коллектив — все эти привычные советскому человеку ценности выглядят не менее привлекательно, чем возможности безлимитной подписки на "Огонек".

А для чтения останется книга, в которой обо всем этом уже давно написано — "Книга о вкусной и здоровой пище", книга о вкусной и здоровой жизни.



Уточнение редакции: Первое издание "Книги о вкусной и здоровой пище" вышло в 1939 году, но это ничего не меняет.



Наркомпищепрома СССР

Главкондитер

КАРАМЕЛЬ
с фруктово-ягодной начинкой

ПРОИЗВОДСТВА ФАБРИК
ГЛАВКОНДИТЕРА

*Побеждает
всегоду!*



Реклама из 1-го Издания.

Андрей Мальгин

ПИСЬМО ДРУГУ-ЛИТЕРАТОРУ

Дорогой друг!

Получил твой сборник. Поздравляю: все-таки первая книга. Спасибо и за добрые слова в мой адрес. Но меня встревожило твое письмо. А именно сообщение о том, что ты собираешься подать документы в Союз писателей. Конечно, вольному воля, но я бы не советовал.

Нам обоим по тридцать лет, но, пока ты писал свои рассказы, то есть занимался делом, я, к стыду своему, не дело делал, а — в р а щ а л с я. В тех самых литературных кругах, в которые ты ныне так стремишься попасть. Так что прислушайся к тому, что я тебе расскажу.

Вхожу я года четыре назад в Дом литераторов и сразу же натываюсь на поэта Андрея Чернова, находящегося в каком-то странном, смятенном и побитом, состоянии. "Опять не приняли", — чуть не плача, сообщил он. Я увлек Андрея в ресторан и предложил залить горе вином. Мы сели за небольшой столик, к нам вскоре присоединились поэты Игорь Шкляревский, Евгений Евтушенко и Олег Хлебников, о каждом из которых я напечатал в то время по статье. Хлебников был с женой. И вот все вместе мы стали отвлекать Чернова от грустных мыслей.

А история с его неприемом тогда, надо сказать, уже гремела. Чернов был в то время, пожалуй, наиболее известным из

поэтов нашего поколения: издавал книги, выступал по телевидению, большую славу принес ему новаторский перевод "Слова о полку Игореве", в котором он сделал несколько важных открытий. А вот в писательский союз его никак не хотели принимать: отказывало так называемое творческое бюро поэтов, состоящее — не все, но в большинстве своем — из авторов, книги которых никто не покупал, на телевидение не приглашал, короче, совсем безвестных. Их не останавливало даже то, что дело приобретало скандальный оборот: об этом написали, кажется, уж все газеты — от "Московского литератора" до "Литгазеты".

Вот и в тот день, когда мы встретились, произошло очередное заседание этого бюро, и Чернову в очередной раз отказали.

Значит, сидим мы, заливаем черновское горе вином (а расстроился он и в самом деле сильно), и вдруг замечаем, скупные вшестером за столиком на двоих, что банкет, разыгрывающийся неподалеку за гораздо более длинным и богато сервированным столом, — это не просто банкет. Это гуляют как раз члены поэтического бюро. И среди них молодая поэтесса Букина, хохочущая и счастливая — ее в тот день приняли. Не берусь с уверенностью утверждать, что это сама Букина закатила старшим товарищам застолье. Может быть, такова традиция этого странного бюро — заканчивать свои заседания возлияниями. Впрочем, это и не важно.

Весело было за богатым столом. Поднимал тосты Алексей Марков (прославившийся в свое время тем, что громил Евтущенко за "Бабий Яр"), рассказывал анекдоты Станислав Куняев (известно чем прославившийся), радовались жизни певцы деревенской темы Валентин Устинов и Владимир Цыбин, буквально лучился певец БАМа Анатолий Преловский. Остальных не помню по причине их полной безвестности и бесцветности. Кстати, и стихи молодого дарования — я имею в виду Букину — мне ни до, ни после описываемых событий что-то не попадались.

Повторяю: заметили мы гуляющее бюро почему-то не сразу. Слишком усердно отвлекали Чернова от грустных мыслей. "Это безобразие, что Андрея не приняли в Союз!" — громко, чтобы за соседним столом расслышали, сказал — якобы нам — независимый и умудренный годами Шкляревский.

“Действительно безобразие”, — сказали хором, но уже потише молодые Хлебниковы. А Евтушенко ничего не сказал, взял салфетку и написал на ней примерно следующее:

Рекомендация.

Я познакомился с Андреем Черновым только сегодня, но уже несколько лет с интересом слежу за его творчеством. В московской секции поэтов триста членов. Считаю, что прием в члены Союза писателей Чернова не ухудшит качественный состав этой секции.

Евгений Евтушенко.

“Теперь все в порядке”, — самонадеянно заявил классик и увез уже мало чего понимающего Чернова к себе на дачу, где, как мне сообщили очевидцы, упоил его окончательно.

Разумеется, подпись Евгения Александровича ничего не решила, хотя салфетку и согласились подшить куда следует. Андрей продолжал добиваться “пересмотра” своего дела, бюро снова собиралось и каждый раз тайным голосованием (чтобы концы в воду) отвергало его кандидатуру. Забегая вперед, скажу, что приняли его только сейчас, и он стремится поскорее забыть о своих пяти- или шестилетних унижениях, и даже однажды одернул меня, когда я, безо всякой задней мысли, напомнил ему на людях об этом. Теперь-то Андрей входит в писательский клуб по членскому билету, а не задами, как некогда.

Кстати, насчет задов Центрального Дома литераторов. Однажды мы с Татьяной Толстой, не будучи членами Союза писателей, пытались прорваться в ЦДЛ на пленум этого союза, где должны были обсуждаться важные, как нам казалось, вопросы “работы с молодыми писателями”. Не сумев этого произвести вместе, мы разделились. Толстая пошла огородами, сзади, со стороны улицы Воровского, и стала открывать все двери подряд. Через секретариат Союза ее не пустили, через ресторан не пустили, через партком тем более. Следующая дверь оказалась входом в резиденцию западногерманского посла, и по Толстой чуть не открыли стрельбу охранявшие посла милиционеры. Произведя открывания дверей в обратной последовательности, она, наконец, попала в дворницкую каморку, где хранились метлы и ведра. Там повторилась ситуация, описан-

ная ее дедушкой в сказке о Буратино. Буратино, как известно, обнаружил за нарисованным очагом папы Карло дверцу, приведшую его в сказочную коммунистическую страну. Дверца, найденная Толстой в дворницкой, привела ее не в коммунизм, а в женский сортир ЦДЛ, откуда она попала уже непосредственно в тщательно охраняемый снаружи зал.

“Хорошо, что туалет оказался не мужским”, — заметила Татьяна Никитична, когда мы, наконец, воссоединились в зале заседаний.

Сам я, по плану, должен был совершить на писательский клуб лобовую атаку. Основной вход охранялся четырьмя старухами в синей униформе, проверявшими полномочия каждого входящего. Среди них особой свирепостью отличалась одна, известная тем, что именно с ее носа весной 1982 года Алла Пугачева, непущенная внутрь, сорвала очки и растоптала их (после чего в течение полугода песни Пугачевой были запрещены к исполнению на телевидении и радио, а из “Студенческого меридиана”, где я тогда работал, цензурой — ! — была снята моя беседа с этой певицей). Если бы на входе стояли не старухи, а милиционеры, я прошел бы без труда, поскольку, как заметил еще Остап Бендер, “милиционеры могут быть приравнены к детям”. Но старух обмануть трудно: за годы безупречной службы они изрядно поднаторели в определении того, кому *можно*, а кому *нельзя* в сие обиталище муз. Единственный человек, которому удавалось обмануть их бдительность, был прозаик Слава Пьецух. Также не будучи никаким не членом, он всегда беспрепятственно проходил в ЦДЛ. Старух вводила в заблуждение его крайняя импозантность и то, что он говорил гардеробщику: “Голубчик”.

Я же поступил элементарно: достал из сумки какую-то рукопись, разбежался и с озабоченным видом проскочил мимо старух, бросив им: “Я несу тезисы к докладу”. Воспитанным на произведениях социалистического реализма, охранникам Дома литераторов потребовалось время, чтобы переварить мое совершенно сюрреалистическое объяснение. Я же это время использовал на то, чтобы добежать до входа в Большой зал ЦДЛ. Вхожу, а в это время докладчик — первый секретарь Союза писателей СССР товарищ В. Карпов — как раз рассказывает собравшимся мою биографию, заявив попутно, что считает меня “критиком божьей милостью”. Такая сногшиба-

тельная характеристика, прозвучавшая из уст Владимира Васильевича, меня, впрочем, не удивила, и несколько ниже я объясню, почему.

Тебе, дорогой друг, может показаться, что я все время отвлекаюсь от темы. Но разве тебе, уже ставшем писателем, но еще не ставшем *членом*, неинтересно узнать о способах проникновения в писательский клуб? Для полноты картины скажу, что есть еще один лаз: узкий, обложенный полубвалившимся кафелем подземный ход из здания Правления Союза писателей СССР. Впрочем, перед входом в это подземелье недавно посадили специальную старуху.

Запретный плод сладок. Тенета ЦДЛ манят начинающего автора. Ему кажется, что войди он внутрь, непременно окажется на дружеской ноге если не с Пушкиным, так хотя бы с Окуджавой. И невдомек ему, что и Окуджава с Вознесенским, и Рыбаков с Приставкиным, и прочие знаменитости редко посещают это богоугодное заведение, только по какой-нибудь крайней нужде. А сидят там исключительно куняевы и цыбины, некое существо по фамилии Заяц (уж не знаю, поэт или прозаик), которому вечно не хватает тридцати копеек на рюмочку, да такие же начинающие авторы, столь же жадно ожидающие прибытия знаменитости.

Не только ЦДЛ с его охлажденной водочкой и бдительными стражницами порядка поддерживает престиж писательской профессии. А дома творчества, раскиданные по всем курортным городам и весям южного побережья! Один пицундский небоскреб чего стоит. Впрочем, и подмосковные — Переделкино, Голицыно, Малеевка — тоже хороши. А особая поликлиника! А писательские дома с высокими потолками, населенные, как улей пчелами, сотнями труженников пера! Существуют в Москве целые писательские районы: Аэропорт, Ломоносовский, Безбожный (он же Астраханский). А дачные поселки! Переделкино, Пахра, Внуково, теперь вот еще Красновидово, в строительстве которого оказал помощь лично Константин Устинович Черненко...

Короче, в общественном сознании быть писателем крайне выгодно. Живешь просторно, отдыхаешь престижно, автомобили — вне очереди, за границу — за казенный счет. Не это ли привлекает в Союз писателей нашу талантливую молодежь?

Прости за резкость, я не конкретно тебя имею в виду.

Тем более что есть и другие немаловажные обстоятельства. С писателями у нас считаются. Член творческого союза — это все-таки какой-то статус. Сейчас часто вспоминают о ленинградском судилище над Бродским. Складывается впечатление, что абсурдное обвинение поэта в тунеядстве, повлекшее за собой серьезное судебное решение, — это был какой-то особый казус в истории нашей юриспруденции. А я могу назвать множество случаев, когда называли тунеядцами, преследовали молодых литераторов уже сейчас, в годы так называемой перестройки. Сейчас, например, в Ленинграде же судят Петра Кожевникова, имевшего несчастье обратить на себя внимание, участвуя в альманахе "Метрополь".

Писательский билет если и не предоставляет его владельцу полной неприкосновенности, так по крайней мере гарантирует от подобных случаев.

Убеждение, что всякий писатель должен быть членом творческого союза, не на голом месте возникло. Известно, что каждый советский ребенок с семи до десяти лет обязан быть октябренок, затем до четырнадцати лет — пионером, а далее — непременно комсомольцем. У нас есть *добровольная* организация под названием профсоюз, но в ней состоит поголовно все половозрелое население Советского Союза. Шутка Ильфа и Петрова — "Пиво только для членов профсоюза" — не так уж далека от истины: если ты не член профсоюза, ты не можешь приобрести новый автомобиль, поехать в дом отдыха, а если заболешь, тебе не оплатят бюллетень. Так и в нашем деле: если ты не член Союза писателей и пришел в издательство с рукописью книжки, тебя поставят в конец длинной очереди, а когда она, наконец, подойдет, скорее всего, откажут: подпирают *члены*. Впрочем, это ты на своей шкуре уже, по всей видимости, испытал.

Обычный человек у нас в стране беззащитен и бесправен. Чем более ты *необычен*, тем проще тебе жить. Член Союза журналистов — хорошо, а член Союза писателей — лучше. Точно так же, инструктор обкома живет лучше, чем инструктор райкома. Уж на что в газетных редакциях, как правило, демократическая обстановка, а и тут: члены редколлегии кушают не на том этаже, где все остальные. У них своя кухня.

Вот и у членов Союза писателей — своя, образно говоря, кухня. И готовят там очень даже недурственно. Это особая

ступенька на общественной лестнице. Кому же не хочется подняться по этой лестнице повыше!

Алесь Адамович как-то метко заметил: Сталин, проведя коллективизацию в деревне, в 1934 году решил коллективизировать писателей, так что Союз писателей — не что иное, как большой писательский колхоз. Критик Станислав Рассадин вообще на страницах "Литературной газеты" (органа СП, между прочим) назвал Союз писателей "всеобщим намордником". Но что-то ни Рассадин, ни Адамович не торопятся сдать свои писательские билеты обратно. Им, видимо, еще хочется в ЦДЛ попадать через дверь, а не через подземный ход, наподобие крысы Шушары.

Кстати, буквально недавно, в апреле, вез я в ЦДЛ на своей машине Владимира Войновича на общее собрание писательского движения "Апрель". Подъезжаем, и вдруг Войнович как-то робко так спрашивает: "А как же меня в ЦДЛ-то пустят?" Я ужаснулся: в самом деле, как? Что я старухам объясню? Вот, мол, товарищ Войнович, которого десять лет назад из Союза писателей исключили? Или, вот господин Войнович, гражданин ФРГ, прошу любить и жаловать? Не помогает это: мне с моим американским другом недавно на входе так сказали: "Вот вы, молодой человек, как заведующий литературным отделом, имеете право войти, а гость ваш, хоть и американский, нет, не полагается вам гостей сюда водить".

Входим мы с Войновичем, и уже бросились наперерез старухи и уже решил он развернуться и уйти, как отовсюду сбежали "апрельцы": "Володя! Сколько лет, сколько зим!" — и так зацеловали и так заобнимали, что стало мне за Владимира Николаевича спокойно. Мало того, что впустили, так еще и в президиум усадили, а несколько позже туда же поместили и Льва Копелева. Перестройка, хорошо!

Но ты, дорогой мой друг, не Войнович, не Копелев, и даже не Сергей Михалков. И рассказы у тебя хорошие, отличные даже рассказы, но если ты думаешь, что за одно это тебя тут же в Союз писателей примут, ты глубоко ошибешься. А вдруг, не дай бог, появятся где-нибудь в печати положительные рецензии на твою книжку, — все, пропало твое дело. Тут уж ни за что не примут. Есть железное правило, не знающее исключений: чем известнее ты, чем активнее участвуешь в литературном процессе — тем труднее тебе будет вступить в Союз писателей.

А предлог всегда найдется. Если не на творческом бюро, то на приемной комиссии, если не на приемной комиссии, то на секретариате встанет кто-нибудь и скажет: "Ах, одна книга? Пусть сначала издаст вторую!" Или: "Ах, две книги? Давайте подождем третью..." "Рекомендацию дали известные люди? Протекционизм! Групповщина!" "Дали неизвестные? Пусть дадут известные". Ну и так далее.

Есть такой скандально известный критик Владимир Бондаренко, в своих суждениях подозрительно смыкающийся с ораторами из общества "Память". Он, несмотря на юный возраст, член сразу и творческого бюро, и приемной комиссии. Ни одного заседания не пропускает, и всегда кричит: где книга! пусть издаст книгу! Причем требует этого от очень известных критиков, опубликовавших сотни статей (не от всех, конечно, от *своих* не требует). И все члены этих бюро и комиссий почему-то в этот момент забывают, что у самого Владимира Бондаренко тоже ведь ни одной книжки за душой нет — не издал, не успел за хлопотами по приему новых членов. Вот уперся он, например, когда обсуждалась кандидатура Урана Абрамовича Гуральника. А у того двадцать с лишним книг написано. Ну, кажется, нечем крыть Владимиру Бондаренко. Нет, нашелся: "Зачем нам в Союзе писателей литературоведы? Гуральник — не критик, а ученый". А ведь на самом-то деле не то беспокоило товарища Бондаренко, что Гуральник — литературовед, а то, что — еврей. Так и помер этой весной видный литературовед Уран Абрамович, не попав в Союз писателей. "Литгазета" бо-о-льшой некролог от лица СП поместила, обливаясь крокодильими слезами, а когда его туда братья-разбойники из приемной комиссии не принимали — почему-то не вступилась, не захотела.

Вот скажи мне: ты в своих рассказах проводишь мысль о том, что последний оплот нравственности — русская деревня? А "Огонек" в своих статьях ругаешь? А Юрию Бондареву славу поешь? Как, неужели нет? Почему же ты решил, что тебя в Союз писателей примут? Не для того там сидел двадцать лет Феликс Кузнецов, не для того он такие приемные сита выдумал и — зернышко к зернышку — подобрал заседающих, чтобы они таких, как ты, туда стали принимать.

Любопытно ознакомиться со списком членов этой приемной комиссии. Состоит там, например, дрессировщица зверей

Наталья Дурова. Квалифицированный судья, правда? А кто такие Владимир Богатырев, Юрий Галкин, Виктор Ильин, Валентин Семенов? Не знаешь? И я не знаю. И никто не знает. А ведь они много уже лет собираются раз в месяц и решают, кто может, а кто не может пополнить ряды Союза. Их Союза.

Ты думаешь, ты их переиграешь? Ни в жизнь! Тебя могут рекомендовать в Союз лучшие писатели страны, гордость нашей литературы, а дюжина уязвленных собственными неудачами литераторов вправе (вправе!) не брать их мнение в расчет.

Два года назад руководитель Московской писательской организации Феликс Кузнецов ушел возглавлять Институт мировой литературы. Ушел одиозный душитель "Метрополя", организатор травли диссидентов, человек, вышвырнувший из Союза писателей Л.Чуковскую, Корнилова, Войновича, Владимира, Гладиллина, Копелева, Орлову, Ерофеева, Попова, Липкина, Лиснянскую. Либеральная общественность оживилась. Послала новому первому секретарю Ал. Михайлову, такое письмо:

"Уважаемый Александр Алексеевич! В Московской писательской организации издавна существовала замечательная традиция коллективного приема в члены СП наиболее талантливых молодых литераторов, к сожалению, в последние годы утраченная. Между тем, в сложное время, которое ныне принято именовать эпохой застоя, несмотря на все препоны, сумели проявить себя и занять свое место в литературе такие представители нового поколения, как Александр Буравский, Александр Еременко, Виктор Коркия, Александр Лаврин, Андрей Мальгин, Сергей Марков, Олеся Николаева, Алексей Парщиков, Михаил Поздняев, Вячеслав Пьецух, Нина Садур, Владимир Салимон, Татьяна Толстая, Андрей Чернов. Многие из них уже авторы книг (порой — нескольких), многочисленных публикаций, о них спорит критика, они пользуются авторитетом в своем поколении и среди тех, кто только готовится вступить в литературу. Конечно, к работе того или иного из них можно относиться по-разному, но нельзя признать нормальным то обстоятельство, что до сих пор никто из них не является членом Союза писателей СССР. Отсутствие профессионального статуса препятствует их полному творческому осуществлению, ставит в двусмысленное социальное положение и не дает им возможности на равных участвовать в литературном процессе... Считаем своим писательским и общественным долгом поста-

вить вопрос о внеочередном приеме в наш Союз большой группы молодых писателей.

Андрей Битов, Андрей Вознесенский, Игорь Дедков, Андрей Дементьев, Вячеслав Кондратьев, Роберт Рождественский, Евгений Сидоров, Виктор Розов, Арсений Тарковский, Николай Тряпкин, Олег Чухонцев”.

Обычно для приема в Союз писателей требуются рекомендации трех любых его членов. А тут сразу одиннадцать, да еще каких!

Что же Ал. Михайлов? Он тут же объявил “массовый прием молодых”, но содержащийся в письме список счел слишком “левым” и потому приписал к нему другой — “правый”, гораздо более длинный. Результат: все “правые” нежданно-негаданно прошли как по маслу, а вот “левые” — увы — как были за бортом писательского колхоза, так и остались. Прорвались только четверо — Толстая, Пьецух, Чернов и Николаева — да и то не с первого раза, а после вполне официальных отказов и дальнейшего бурления общественности.

Вот и скажи: кто кого переиграл? Выдающиеся мастера пера ратуют за одних, а принимают в Союз писателей других. Каких — ты мог судить по так называемой встрече Владимира Карпова с молодыми писателями, которая показывалась по телевидению и была едко высмеяна Натальей Ильиной на страницах “Огонька”. Это был полный сбор братьев-разбойников из журнала “Молодая гвардия” и “Наш современник”. Я лично туда попал лишь в результате больших интриг (хотя не стоило, конечно, как теперь понимаю).

Собрались “молодые”. Многим под пятьдесят. Масса лысых, с животами. И почти все бородатые (кроме критика Ларисы Барановой-Гонченко). Помнишь Мальчиша-Кибальчиша, воскликнувшего: “Измена! Кругом измена!” Так вот за самоваром у Владимира Васильевича сидело тридцать таких мальчишей-кибальчишей и все говорили об измене. Кто изменщики? Да все тот же “Огонек”, газета “Московские новости”, поэты-шестидесятники, ну и так далее — набор известен. Кто-то (кажется, прозаик А. Буйлов) договорился до того, что необходимо дать каждому интеллигенту в руки лопату, чтобы они, наконец, занялись трудом, нужным народу.

Я выступал в конце. Смысл моего выступления был такой: вы, Владимир Васильевич, как напишут в газетах, встре-

чаетесь с группой молодых писателей, но смею вас заверить, это действительно всего лишь группа, причем достаточно узкая, и я прошу не считать прозвучавшие мнения коллективной точкой зрения всей советской молодежи.

Поскольку аудитория, благодаря телевидению, у борода-тых "заединщиков" оказалась многомиллионной, на Владимира Васильевича отовсюду посыпались упреки. Знаю, что ряд писателей писали Горбачеву. Знаю, что Карпова и его заместителя Верченко вызывали куда следует. Результат — тот самый пленум Союза писателей, где перепуганный Владимир Васильевич назвал меня "критиком божьей милостью" и столь же почтительно отозвался о других, вскоре благополучно *неприня-тых* в Союз писателей "левых".

Но имел тот пленум и еще одну предысторию. За неделю до него раздается у меня на работе телефонный звонок. Голос незнакомый: "Это Андрей?" А я, надо признаться, очень не люблю, когда незнакомые голоса называют меня без отчества. Поэтому ответил нелюбезно: "Да, Андрей". — "А это Карпов из Союза писателей". Тогда Владимира Васильевича только-только выбрали первым секретарем, и я не сразу понял, кто мне звонит. Тем более мне еще ни разу не приходилось разговаривать ни с членом ЦК КПСС, ни с депутатом Верховного Совета, ни с Героем Советского Союза. А он был сразу и то, и другое, и третье. Разговор состоялся следующий:

— Какой Карпов?

— Ну, Карпов, Карпов. Владимир Васильевич.

— Ой, здравствуйте, Владимир Васильевич!

— Андрюша, у меня к тебе такая просьба. Тут у нас на днях будет пленум Союза, первый после съезда. Я буду много говорить о молодых. Мне тут мои помощники подготовили справочку, о ком я должен сказать. Так я им не доверяю.

— ?

— Нужна, понимаешь ли, консолидация. Ты бы подготовил мне свою справочку. О своих. Я и о них скажу.

— О каких *своих*?

— Ну, о "левых", или как вас там. А еще лучше давай увидимся. Сейчас можешь?

— Не могу, Владимир Васильевич. (Я действительно не мог: торопился в Дом кино, где должен был состояться первый легальный вечер Андрея Тарковского).

— А завтра? Я с утра заседаю в комитете по Ленинским премиям. Отзаседаю — позвоню тебе домой и приеду.

— Куда?

— Ну домой к тебе.

— Ой, нет, у меня дома ремонт. (На самом деле: грудной ребенок, простыни и горшки, теща с тестем, жена и брат жены). Может лучше я к вам приеду?

— Ой, и у меня ремонт. (На самом деле: не хотел, чтобы вездесущие соседи по писательскому дому знали, с кем это он интригует). Давай лучше в метро "Проспект Мира", у первого, скажем, вагона. Ты с какой стороны поедешь?

— Владимир Васильевич, понимаете, я в метро никогда не езжу.

— Надо же, и я никогда... Тогда давай на улице. Магазин "Ригонда" знаешь, напротив метро?

— Знаю.

— Вот давай там в половине третьего. Только ты справочку мне набросай, о ком что сказать.

На следующий день мы встретились. Владимир Васильевич, помнится, одет был не в обычный свой темный "кремлевский" плащ, своей монументальностью заставляющий уважать владельца, а в серый, помятый, конспиративный. Прохожие его и в самом деле не узнавали в таком виде. "Вот что значит бывший разведчик", — подумал я восхищенно.

Гуляли. Разговаривали. Владимир Васильевич очень недоумевал, что это все ругают его замечательную встречу с молодыми. Жаловался, что не может найти общий язык ни с левыми, ни с правыми. "Что они меня все за дурака держат?" (Он, кстати, был недалеко от истины). Выспрашивал, кто такая Татьяна Толстая (хотя именно возглавлявшийся им "Новый мир" опубликовал ее первые рассказы) :

— Это не та ли, что в "Вопросах литературы" раздраконила Петелина за его книгу об Алексее Толстом?

— Та, Владимир Васильевич.

— Вот молодец. А Петелин редкая сволочь. Он подо мной живет, и все время пишет письма на меня, все ему не так, все жалуется. Знаешь что, тут Петелин еще одну книгу издал, о Шалапине. Я через тебя ее Толстой передам, там уже все подчеркнуто, что надо. А может и сам займешься? Я помогу напечатать, в "Литгазете", например.

Да вы знаете, Владимир Васильевич, в "Литгазете" эту книгу уже Латынина ругала. Да и не специалист я по Шалапу. А Толстой я вашу просьбу непременно передам. (И передал. То-то было смеху!).

За точность изложенного я ручаюсь. Придя домой, тут же, как Эккерман за Гете, все за Владимиром Васильевичем записал. Зарегистрировал, в частности, и такое высказывание, которым хочу подытожить свое письмо:

"Вот вы, молодые, все за что-то боретесь, все нас, стариков, подсиживаете. А ведь вы нам многим обязаны. И то, что войны нет, и то, что такой мощный Союз писателей создали. Это ж государство в государстве, на всем своем сидим, деньжищ-то сколько! И все вам оставим. Берите, пользуйтесь..."

Хоть и был я тогда гораздо более конформистски настроен, а все ж таки последняя фраза меня резанула. Как-то сразу расхотелось пользоваться этим наследием. И ты знаешь, было такое ощущение, что мне предложили взятку. Или во всяком случае какие-то нечистые деньги. То ли несправедливым трудом нажитые, то ли украденные, отнятые у кого-то. Честное слово.

Именно в тот день мою душу впервые посетил сомнение: а нужно ли вообще вступать в Союз писателей? Впрочем, я еще очень многое мог бы тебе рассказать об этой организации. Но это уже в следующем письме. А пока — до свиданья.

Постскриптум. Если тебя интересует, уничтожил ли в конце концов Владимир Васильевич несчастного Петелина, отвечу: нет, не уничтожил. Может, духу не хватило. Может, достало благородства. А скорее всего, дело просто в том, что переехал вскорее Владимир Васильевич на новую квартиру и за государственными заботами позабыл о своем бывшем соседе. А переехал товарищ Карпов, между прочим, на Кутузовский проспект, в тот дом, где висят мемориальные доски об Андропове и Брежневе. Переехал непосредственно в квартиру небылвестного товарища Щелокова. Не исключено, что по ночам Владимиру Васильевичу являются призраки бывшего министра и его супруги, покончивших в этой квартире с жизнью. Очень мне почему-то хочется, чтобы эти коррумпированные призраки Владимиру Васильевичу являлись. Хотя ничем он меня не обидел, напротив, "критиком божьей милости" назвал.

Москва, 1988

Михаил Эпштейн

БЛУД ТРУДА

Порою одна метафора глубже раскрывает суть предмета, чем сотни и тысячи монографий. Сколько написано у нас о социально-экономической природе труда, о его былой эксплуатации и нынешнем раскрепощении, о моральных стимулах и воспитательном воздействии на личность, о его грядущем превращении в первую жизненную потребность и способ всестороннего развития... А трудимся мы все равно плохо, хотя и нельзя сказать, что мало.

Сколько трудились в 20—50-е годы, пока не разленились к 60-м! Дни и ночи, до кровавых мозолей и ранней могилы — на работе сгорали, как говорили тогда о пламенных труженниках. А все равно богатства не нажили, и во что этот труд отлился, в какие весомые формы и чуда цивилизации, исключая разве чудо самой космической невесомости? Как будто не надрывались люди на полях и заводах — земля в запустении, машины на полном износе, а в глаза иногда и заглянуть страшно. Всего, всего не хватает: и еды, и одежды, и книг, а главное — смысла того, откуда и почему вся эта нехватка.

Может быть, сам этот неустанный труд такой особенный, что силы отнимает, а взамен ничего не прибавляет, и вообще не труд? Если, например, малыш орудует лопаткой в песочнице, то занятие это лучше определить метафорой, вроде "лепет лопатки", чем научным замером рабочего времени или анализом взрыхляемой почвы.

И вот приходит поэт и отчеканивает одну строку, всего лишь соединяет два трудно соединимых слова. "...Есть блуд труда, и он у нас в крови". И политэкономия социализма, нищая, так и не сложившаяся наука, все время страдавшая от невозможности ухватить и нащупать свой специфический предмет, — получает желанную подсказку.

Как сразу и точно — одним словосочетанием — сказалось у Мандельштама все наше эпохальное отношение к труду! Советянин, потомок россиянина, трудолюбив, много и охотно трудится, но этой любви его к труду как бы недостает законного основания — она тороплива, неразборчива, блудлива, редко перерастая в устойчивый брачный союз. Нет прочной, пожизненной связи с предметом и результатом труда: он общий, ничейный, публичный. Поэтому в истовой страсти к труду нет-нет и проскользнет что-то безнадежное и почти порочное: оплодотворяется лоно, в которое вливают свое семя и другие. "Всеобщая собственность на средства производства". Всем встречным и поперечным: усердным и лентяям, заботливым и бесшабашным, гулякам и однолюбам — она зазывчиво предлагает умножить усилия, навалиться миром. Тут и трудолюбец почувствует себя блудодеем, а если и продолжит работу, то как бы исподтишка, не в общей связке, затаивая и лелея для себя любимый предмет. В том же конструкторском бюро — но откладывая в заветный, запираемый ящик дорогие и неосуществимые проекты. А лучше отрезать от общественного стола свой маленький ящик, от общественного поля — свой маленький клочок, и перенести в дом, во двор, чтобы, отгородив от посторонних глаз, обхаживать и лелеять.

В корне слова "собственность" — понятие "свой". И первое из чудес состоит в том, что она, оказывается, может быть не "своя", а ничья, общая: так сказать, белая ворона или черный снег. Не мы придумали это чудо из чудес, но немало поработали, чтобы все человечество стало таким коллективным чудотворцем, а пока, для примера и поучения — один, самый сказочный народ. Собственность все время изымалась из области "своего" и становилась как бы "инойственностью": община или артель, сходка или колхоз, помещик или секретарь, управляющий или уполномоченный — все работали заодно, чтобы никто на себя не мог работать, чтобы любовь к труду была трепетной, чистой и безответной. Вот народ, вырастая из цело-

мудренного детства, а все еще недопущенный к законному браку, и стал брезглив, неразборчив, обзавелся вредными привычками. Единственная у тебя любовь или мимолетная, гениальные у тебя гены или алкогольные — все сварится в общем котле, склеится в студенистую продукцию вала: кубометрового, тоннажного, калорийного, в бескостное дебильное дитя с “лица всеобщим вырождением”. Системными при такой системе бывают только заболевания.

Нет никаких внутренних обязательств: можно вкалывать, не разгибаясь, а можно расколотить в сердцах лопату и законно предаться безделью, сну, отдыху, запою. Труд в охотку лишь для тех, кто пристрастился к нему уже необъяснимой, чудаковатой, почти болезненной привязанностью, как к наркотику: раз вдохнул — и уже на насытит. Как легко издеваться над такими безотчетными трудягами, влипшими в свой безнадежный, не вознаграждающий предмет — все равно что втюрился в проститутку и пишет ей возвышенные стихи, а она гуляет со всей улицей. Пропадает забота и о плодах труда — важно то терпкое удовольствие и забытие, которое дает труд, а что там получилось, кто будет этим распоряжаться и пользоваться — не все ли равно? Сдаст она его, подзаборного, в детприемник, и ты его никогда не узнаешь, и он тебя. Ведь давно уже поставлено целью, чтобы труд в грядущем обществе стал “потребностью здорового организма” (читатель легко найдет том и страницу). А какие у организма здоровые потребности? И так ли нужно думать о потомстве и воспитании?

Отсюда, при нестигаемом упорстве, замечательная бестолковость — огромное количество труда при ничтожестве результата, отсутствие явно преследуемой и достигнутой пользы. Толочь воду в ступе до онемения рук, чтобы она стала слаже от пролитого в нее пота, — это и есть бестолочь. Какой может быть толк в сооружении канала, вода которого иссыхает, не успев дотечь до назначенного поля; или в сооружении дамбы, встающей не столько поперек наводнения, сколько поперек отхожей воды, выносящей из города грязь и гниль? Вот и остается бешенство усилий, в которых заранее выкипает и испаряется всякий возможный результат — забыться в процессе, помрачить работой ум, чтобы не глянул в него пустой и холодный завтрашний просвет.

Так вот и блуд безразличен к последствиям — он без раз-

бору "берет", как труд — "отдает": неважно, от кого, неважно, кому. Лишь бы кипело, разгоралось, пламенело в зареве великих строек, которым заведомо остаться недостроенными — памятником остановленному "прекрасному мгновенью".

Вспомним, что принцип незаинтересованного труда не был так уж чужд и другим народам, в их высочайших умозрениях. В "Бхагавадгите" Кришна проповедует Арджуне: будь верен своему делу, отдавайся ему безраздельно, но не впадай в зависимость от его результата. У Канта в "Критике способности суждения" такая деятельность без расчета на результат, находящая смысл и наслаждение в самой себе, названа игрой. Однако наш привычный труд-блуд, как ни соблазнительны эти параллели, имеет мало общего с индуистской этикой чистого долга и немецкой эстетикой бескорыстного наслаждения. Там человек не зависит от результата — здесь результат не зависит от человека. Там он освобождается от привязанности к продукту труда — здесь он мучительно привязан к самому процессу. Там он достигает бесстрастия в работе — здесь сама работа становится опьяняющей страстью. Иными словами, когда есть собственность как "наличное свое", от нее можно отказываться и преодолевать, достигая сверхличного в себе, восходя по ее же ступенькам на вершину "самого своего", "самого себя". Когда же своего нет в наличии и предпосылке, тогда происходит опускание ниже в область внеличного, предличного, что человек ощущает как невладение самим собой. От *своей* вещи путь лежит к своей же душе, от *не своей* вещи (имущества, достояния) — тоже к душе, но не своей, которая действует с одержимостью автомата, вонзающего клинья или клещи в какой-то поднесенный ему предмет. Про человека тогда говорят, что он работает как *заведенный*, и в самом деле, характер отчужденной собственности определяет отчужденный характер труда, низведенного до уровня физиологической потребности — еще один инстинкт, в ряду тех, которые заставляют паука ткать паутину, а самку — поедать самца. Между тем очевидно, что человек как раз освобожден изначально от труда как инстинкта, чтобы иметь волю к разумному его применению.

В "игре" и "долге" как раз и выявляются эти сверхинстинктивные основания труда, который освобождается от привязанности ко всему внешнему: человек сознательно распрямляется своими силами, целесообразно распределяет их, забо-

тится о наилучших условиях игры и соблюдении ее правил — иными словами, становится зорче и трезвее, не ослепленный целью. Труд как блуд, напротив, есть удобная форма самоослепления — маниакальная потребность что-то делать, чем-то занять себя — метод поспешной саморастраты. Человек собой не владеет — он одержим *бесом* труда: “рубит, колет, режет”, “жарит, шинкует и перчит”... Чем больше ручного, изнуряющего труда, тем легче забыть, отогнать навязчивые мысли о смерти, скоротать томительный избыток времени. Так Базаров у Тургенева отдается “лихорадке работы” после неудачи с Одиновой; так Дарья у Некрасова неистово колет дрова, чтобы притупить боль об умершем муже. Но это блуд и запой труда, объяснимый частной психологической ситуацией. Если же вспомнить, как работают у М. Горького (“В людях”, “Дело Артамоновых”), у А. Платонова (“Котлован”, “Ювенильное море”), то проясняются устойчивые основы таких ситуаций в жизни целого народа: уйти от одуряющей пустоты — в работу до одуренья. В этой поглощенности процессом труда, в этом хмельном и страшном веселье есть какая-то мрачная исступленность, как будто люди подбрасывают поленья в адский огонь, где горит их душа, — ничего от строгой сосредоточенности Арджунны и самоцельной игры способностей у Канта. Цель — что-то изломать и задушить в себе, “наступить на горло собственной песне”. Кто-то, как Треплев, убивает себя выстрелом. Кто-то, как Войницкий, убивает себя делом. Иногда человек хочет убить себя выстрелом, но этого кажется ему недостаточным — и он убивает себя делом, как Корчагин. Иногда человек убивает себя делом, но этого оказывается недостаточно, и он убивает себя выстрелом, как Маяковский.

Блуд почти безразличен к качествам партнера — лишь бы, как определяет Федор Павлович Карамазов, обладала признаками пола. Так и блуд труда безразличен к предмету — лишь бы можно было в него внедряться, обрабатывать, растрчивать в нем себя. Ведь сам такой труд выступает как замена чего-то более подлинного, поэтому и внутри него все заменимо, и прежде всего сам труженник. “Незаменимых нет” — эта мораль ворвалась в нашу общественную жизнь словно из обихода публичного дома, но легкая шутка перешла в мрачную угрозу и торжественное заклинанье. И конечно, простое вещество выступает как самый удобный алгебраический “икс” для всяко-

го рода замещений — равно безрадостных и беспечальных. Вспомним инженера Прушевского из “Котлована” — не имея любимой женщины, он хочет вновь и вновь расхотеть свое никому не нужное тело на трудовые нужды страны, на “чужой прок”, отдаваясь холодной и ленивой ласке строительного вещества. “Занятие техникой покоя будущего здания обеспечивало Прушевскому равнодушие ясной мысли, близкое к наслаждению... Вечное вещество, не нуждавшееся ни в движении, ни в жизни, ни в исчезновении, заменяло Прушевскому что-то забытое и необходимое, как существо утраченной подруги”. Равнодушие, близкое к наслаждению, или наслаждение, близкое к равнодушию, — это и есть точнейшая формула блуда.

И не обязательно, конечно, чтобы предмет труда заменял именно тело подруги, он может заменять любой предмет любого труда, если сами предметы оказываются взаимозаменяемыми и наслаждение ими совмещается с равнодушием к их единственному существу. Можно командовать взводом, строить железную дорогу, руководить идеологическим сектором, писать автобиографический роман. Можно “работать” эпические поэмы и коммерческие рекламы. Можно стрелять контру, полоть морковь, дергать сиськи у коровы, лишь бы служить делу партии, как определяет Макар Нагульнов.

Блуд труда оказывается выражением какой-то высшей верности — идее, идеалу. Вещь исковеркать похабным употреблением можно — идею изменить нельзя. Детей, стариков “в распыл пускать” можно, тем более корове “сиськи оттягать” — но мировой революции, ради которой все это делается, нельзя недодать любовного пылу: во всякой случайной связи и даже насилии должны сиять, звать и томить ее голубые глаза. Роскошная революционная женщина Роза Люксембург водит комиссара Копенкина по дорогам гражданской войны, мысленно обещая ему за все кровопролития любовный коммунистический рай (“Чевенгур”).

Блуд очень легко соединяется с верностью через понятие мании: кто привержен чему-то одному, готов все перепробовать, перещупать, чтобы это одно получить. Дон Жуан безраздельно привязан к женщинам — и именно поэтому изменяет одной за другой. Трудоблудие освящается верностью идее труда. Поскольку “труд создал человека”, поскольку “будущее принадлежит людям труда”, постольку нужно трудиться (3 раза)

— там, куда пошлет, так, как прикажет партия “людей труда”. И Труд настолько славен и почетен сам по себе, как само по себе обладание женщиной славно и почетно в глазах блудодоя. Из всех видов и возможностей труда извлекается абстрактная идея Труда как такового — высшего и требовательного смысла жизни. И потом уже этот всеобъемлющий Принцип развинченной походкой блуждает среди всех конкретных разновидностей труда: каждую оплодотворить — и двинуться дальше*. Номенклатурный работник, посылаем по разнарядке то на сельское хозяйство, то на агитпроп, то на агропром, то на образование и культуру — это своего рода гуляка праздный, всю жизнь бредущий по злачной улице с заведениями налево и направо. Да нет, почему гуляка? если уж он совсем номенклатурный, то держатель гарема, потому что одновременно решает все указанные вопросы, не выходя из своего рабочего кабинета, с раскинувшимся посередине роскошным ложем циркулярного стола. До уличных забав он себя не унизит, потому что и сельское хозяйство, и образование с культурой сами покорно являются к нему в опочивальню по первому звонку, и список очередности заранее составлен услужливым евнухом, который, в качестве хранителя укромнейших прихотей и секретных усад, так и называется секретарем.

Можно предположить, что все это стирание индивидуальных различий: в отношениях труда к собственности и к предмету, и к отрасли, и к вознаграждению — есть только ретивая выдумка всяких Нагульновых, привыкших к пальбе и гульбе вместо твердого расчета. Дескать, это все дань упрощенчеству, отход от начальной строгой линии, искажение, искривление, извращение мудрых заветов и основоположений. Но вчитаемся в самый авторитетный источник, какой только возможен, — причем автор подчеркивает принципиальность своего утверждения, его всеобщий и обязательный характер.

* Приведу по памяти куплеты, чуть ли не каждый день распевавшиеся по радио, въевшиеся в сознание: “Нам ли стоять на месте? В своих дерзаниях всегда мы правы! Труд наш есть дело чести, Есть дело доблести и подвиг славы. К станку ли ты склоняешься, В забой ли ты спускаешься, — Мечта прекрасная, Как Солнце ясная, Зовет, зовет тебя вперед. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Нам не страшны ни льды, ни облака. Пламя души своей, знамя страны своей Мы пронесем через миры и века!” Вот она, патетика Принципа, его разгоряченное воображение. Мало ему станков и забоев, так ему еще и миры подавай, чтобы пламя души не погасло.

"...Коммунизм, если брать это слово в строгом значении, есть безвозмездная работа на общественную пользу, не учитывающая индивидуальных различий, стирающая всякое воспоминание о бытовых предрассудках, стирающая косность, привычки, разницу между отдельными отраслями работы, разницу в размере вознаграждения за труд и т.п." ("Политический доклад ЦК 2 декабря. VIII Всероссийская конференция РКП (б) 2—4 декабря 1919 г., ПСС, т. 39, с. 360).

Разве не строгое определение? Уж куда строже — прямо по пунктам перечислены характерные признаки блуда-труда: все равно кто, все равно с кем, все равно за что. Не учитывать индивидуальные различия, стереть разницу между отраслями и не рассчитывать на взаимность. Но есть еще и поразительно точные слова из более широкого контекста — не узко производственного, но как бы семейно-бытового: о предрассудках, косности, привычках. Мандельштамова метафора здесь уже дрожит на кончике пера. Дескать, были когда-то "предрассудки", призывающие человека к чему-то единственному и любимому, была "косность", не позволявшая стереть различий между этой и той (отраслями?), была "привычка" к вознаграждению, надежда на взаимность... И вот весь этот семейный уют, погрязший в индивидуалистических предрассудках, должен уступить трудовому сожителю с общественной пользой, без всяких различий, привычек и воспоминаний.

Кто кого упрощает? И разве не сводится труд таким смелым порывом в будущее к работе раба или робота, чему-то худшему, чем само блудодейство, — потому что даже "вознаграждение" есть момент индивидуальный и человеческий, а механический молот или фаллос и впрямь трудится "безвозмездно"? Вспомним медведя-молотобойца — образцового пролетария из "Котлована": вот кто удовлетворяет вышеприведенному определению в самом строгом смысле. Да и то не вполне — требует еды и водки, а значит, бескорыстен лишь частично. Может быть, он первым и придет к коммунистическому труду, как древнее тотемическое олицетворение своей страны, прямо шагающей из первично-общинного строя в окончательно-общинный?

Труд может стать прекраснейшим средством самоупрощения, истинной потребностью отчаявшейся души. В тесноте общения с вещью — овеществиться самому, забыть свою му-

чительную человечность. Слишком часто труд — это только бегство от свободы, которая назойливо оставляет человека наедине с собой, со своей совестью. А с простой, осязаемой вещью, которая ничего не хочет, кроме сильных рук, — долгой самосознание: мир прост, как соблазн, душа проста, как желание. Будем “беспокоиться о текущих предметах и строить любое здание в чужой прок, лишь бы не тревожить своего сознания” (Платонов). Блуд — средство избавиться от неудачной или невозможной любви: душа не выносит долгого напряжения и сдается на милость первому телесному зуду. Быть полезным, быть мужественным, ощутить свою насущность первым попавшимся способом — вот что называется трудовым подвигом: кинуться в любой прорыв, любую дыру заткнуть собой.

Как-то у нас само собой совмещается: “труд и творчество”, “творчество и труд”. А ведь тяга к труду может быть от творческой несостоятельности, от бессилия фантазии, от импотенции своего рода — неспособности любить. Случайно ли, что все тоталитарные режимы восхваляют труд как первейшую добродетель и выставляют гражданским идеалом прилежности работника? Он безопасен, потому что работает в поте лица и не отрывает взгляда от земли. В корень слова “работа” вписано слово “раб”. Человек стал рабом греха — и потому работником на земле: можно ли проклятие выдавать за добродетель? Свобода, если поискать ее первоначального смысла, — это вовсе не “освобожденный труд”, а освобождение от труда. Сколько издавались у нас над евангельскими словами: “птицы небесные не сеют, не жнут...” — образом человека, искупленного от греха!

И техника постепенно освобождает человека от трудового проклятья, сближая труд с мечтой, полетом, духовным деланием, опрозрачивает материальный мир изливанием помыслов и фантазий. Но трудолюбие враждебно технике, как разврат — романтике. Блуд слишком привязан к плоти, к вязкому, душному, смертному в ней. Лучше неделю собирать картошку руками, чем один час — уборочной машиной. И люди, склоняясь к земле, чаще вспоминают, что они рабы. Разум, конечно, отдает предпочтение машине, но душа просит надрыва, мозолей, сухого трения о поверхность вещей, чтобы возбуждать и глущить себя этим зудом, бесовской щекоткой, от которой сладко ломит тело.

Там, где блудливый труд, — много наспех сделанных, ско-

рее испорченных, чем облагороженных вещей. Нетерпеливо растерзанных, торопливо брошенных. Блудодей берет от них то, что ему надо, — сминает плоть, гонит вал. Не озабоченный смыслом и мерой самого предмета — кроит, а точнее, кромсает все по одной мерке. Не таков ли блудливый характер всей нашей промышленности, которая гонит массу несработанных, полуразрушенных вещей? Сколько у нас необъявленных маркизов де Садов, наворотивших горы трупов в своих феодальных замках со станками сладострастного истязания для безгласных жертв: чистых руд и металлов, непорочных горных и древесных пород. О чудовищных пытках можно догадаться по следам повсеместного безобразия на лицах наших прекрасных городов и сел, по разорванному узорному плату полей и лесов, по рытвинам и ухабам на теле изможденной земли. То, что стояло, давно согнулось в три погибели, то, что лежало, поднято на дыбы, то, что имело части, стало сплошным целым на бескрайних трупохранилищах, именуемых уважительно складами или небрежительно свалками, но скрывающих примерно одно и то же.

Техника — давно уже пройденный этап, оставленный для любопытных малолеток, жадно мусолящих страницы затрепанных пособий: как это делается, с какой стороны подступиться? Изю всех наук осталась одна арифметика: не *как*, а *сколько* — перещупать, перекопать, понастроить. Остановиться нельзя — можно так и застыть посреди строительной площадки, превращенной в мусоросборник, и впасть в черную меланхолию. Спасает только неистовость порчи, сквозных червивых ходов, проложенных через сердцевину самого прекрасного, девственно-го вещества, которого всегда хватает в заневестившейся стране: сколько угля, сколько нефти, сколько газу — и все зажда-лось, томится, перезревает в своих тайных недрах. Разрыть, откопать, внедриться! А дальше — пусть небо греется нашим дымом, пусть соседи завистливо втягивают ноздрями насыщенный промышленный запах нашей окружающей среды. Сладок дым Отечества, когда вольно гуляет по всему поднебесью!

Профессионал, берясь за ремесло, как бы вступает с ним в законный брак, посвящает ему себя без остатка. Собственно, профессионализм — это и есть мистериальная посвященность, связанность неразрывными узами с миром вещества, мученический и счастливый брачный венец, таинство "единой плоти" че-

ловека и вещи. Любое изделие скреплено печатью любви, как плод долгого претерпевания и взаимного узнавания, нерушимого обета верности. Куда делось, во что вылилось это великое качество компетентности? В приложение к одному-единственному слову "органы", которые и впрямь всюду обнаруживают potentную всепроникающую способность. Дилетантизм sporadicен, спонтанен, всюду рассеивает свои споры, перебрасывается с вещи на вещь, без методики, без привязанности, без обязательств. Не заводит семьи, не выращивает детей, но ускоренно тратит семенной фонд человечества. Он, любимый наш герой, любовник труда — на все руки мастер, словно у него тысяча рук: и швец, и жнец, и на дуде игрец. Наша социальная мечта — всесторонне развитая личность, шьющая, как Москвошвей, жнущая, как колхоз, играющая, как духовой оркестр. И каждая рука творит чудеса: небывалые покрои, небывалые урожаи, небывалые напевы — лагерники в лохмотьях, голодающие кормильцы и мертвая тишина, в которой скрежещет один гортанный голос.

"Блуд труда" — это ныне называется экстенсивным способом хозяйствования: скорее осваивать новые земли, строить новые заводы, не заканчивая начатого, работая порывами и урывками, авралами и абордажами, как встречаться с первыми встречными, без уговоров и прощаний. Можно пожурить с высшей точки зрения — и призвать к интенсивности, к глубине. Но чтобы двинуться в глубину, нужно поставить себе границы; а широта вокруг так уже призывно разлеглась-распласталась, что ноги сами просят идти все дальше и дальше, "все разрушая рубежи". Пресловутая широта наша — не та же ли размашистость блуда, включая блуд с пространством, с землей? Да и что такое эта огромная, невпроворот для житья и освоения территория, как не блуд с пространством, который перебирает край за краем, версту за верстой, не в силах остановиться и границу свою очертить, прочный дом свой построить. Что границы — игра в классики, легкий перепрыг туда-назад, когда у нас повсюду родной дом и бесконечный путь класса к самому себе, в свои законные владенья! Сама равнинная земля, раскинутая навзничь на все стороны, — прообраз легкости наших трудовых отношений, ведь "блуд" прямо и значит не что иное, как "блуждание": шаткость, качание, неоседлость. Вот что сказалось в раздолье души, которая ни к чему прирасти, ни на чем остано-

виться не можёт и потому грезит обо всем свете. Блуд — психологическое кочевье, которое, возможно, выработалось от географического, когда хлынули и размыли Древнюю Русь кочевые племена и народы. "И он у нас в крови" — не той ли самой, что широким потоком, потоком влилась в славянские жилы в пору степного нашествия и дальше разливалась безбрежно, безбожно, всеми бунтами и бунтарями, шедшими от низовьев Волги, от старых гнездовищ Золотой Орды, которая по ходу веков краснела от пролитой в землю и ударяющей в голову крови.

Бывает, что передовой отряд, попав на чужую территорию, не может с нее выбраться, остается в окружении и гибнет. Так мы не можем выбраться из окружения своей, она цепко нас держит, предопределяя весь кочевный дух исторического существования. Владеем большим, чем нуждаемся, — поэтому работаем хуже, чем можем.

И вот — последняя стадия... То чужое, что присвоили себе, но не сумели освоить, теперь исподволь, из-под полы, распродается на сторону. Эта держава, простершая ноги на Сибирь, а локтем возлегшая на Кавказ (горделивый ломоносовский образ), слишком велика своими недрами для владеющего ею. И он, совершая блуд с ней посредством безлюбивого труда, одновременно сутенерски распоряжается ею посредством торговли. Не похитив чужого, не начнешь расхищать своего. Сутенерство — высшая и последняя стадия блуда, когда освобождаешься не только от нравственных обязательств, но и от физической страсти к женщине: интимная связь, лишенная малейшей интимности, столь же регулярная и законообразная, как супружеская, только с обратным знаком. И это психологически понятно: блуд все время упирается во что-то "не свое", чем он не может овладеть, — и отсюда соблазн избавиться, отдать в чужие руки, но уже не даром — придти на мировую толкучку и сбить товар, который жжет руки. И покупают, хотя и видят, что на продавце шапка горит. Блуд в производстве ведет к сутенерству, когда в оборот пускаются не готовые изделия, а даровое сырье, необработанная, не востребованная плоть земли. Зачем своей рабочей силой торговать, когда у нас товар под боком лежит, к спине привалился! Распродаются недра возлюбленной — или разлюбленной? — родины, вывозятся на потребу дальней, расчетливой промышленной похоти. И в самом деле:

чем безлюбовно и постыло вторгаться в развороченные трудом-развратом недра, не лучше ли запродать их богатому воротиле, который выкачает из обильной земли все, что возможно, — и заплатит за нее с лихвой. Пусть, опустевшая, спит рядом, отсыпается до самой смерти. Чем жить с нею, не имея пыла и сил, лучше жить за ее счет.

Так далеко ведет мандельштамовская метафора, в самые укромные уголки и постыдные тайны "народного" сожительства со своей землей.

Напоследок нельзя не вспомнить, что метафора эта под пикантным соусом уже была заготовлена социальной "наукой", прежде чем самой науке теперь предстоит ее расхлебывать. Начиная от древних социалистических учений и кончая научнейшим социализмом, всюду в этих миротворительных проектах обобществление собственности дополнялось обобществлением жен. Нет, социализм не предполагает ни лени, ни воздержания, как заявляют его клеветники, — но всего лишь такую трудовую и половую активность, которая не притязала бы на частное владение своими плодами и предоставляла бы их в мудрое распоряжение всего государства. Все должны трудиться на всех — и в домах, и в домах. Так что Мандельштам ничего нового по сути и не сказал. Общественная собственность на средства *производства вещей* и *воспроизводства людей* уже предполагает и освящает тот ритуальный блуд, каким становится труд без института частной собственности и супружество без института семьи и брака. Метафора — не выдумка, а правда осуществленной утопии, где общественное производство и всеобщее супружество должны органически дополнять друг друга, как взаимный образец и место передового опыта.

Но — должны идти рядом, вместе, нога в ногу: труд и блуд, блуд и труд. А метафора их скрещивает и опять-таки научно объясняет, почему этим утопическим проектам суждено было воплотиться лишь отчасти. В производстве — да, в супружестве — нет. Именно потому, что священный блуд, который предполагался в замену домашнего рабства, с возрастающим размахом воплотился в общественном производстве. Сам труд стал блудливым — и тут уже стало не до блуда. С такой яростью вливалась похоть общественного сожительства в хозяйственный процесс, что для прочих смещений не оставалось сил и потребностей — все съедал безоглядный труд и его беспризор-

ные порождения. Блуд с вещами настолько расшатывал нервную систему индивида и удовлетворял растущим потребностям совместного пользования и обладания, что отбивал охоту ко всякому другому блуду.

Больше того, сама любовная сфера стала в какой-то мере поприщем настоящей трудовой дисциплины, героического самообуздания — вобрала те качества "буржуазной", "протествнтской" этики, которые исчезли из сферы собственно производственной. Хозяйственный ажиотаж рождал нравственных аскетов, очищавших себя огнем неукротимых общепользных страстей. Самоотверженный герой разбрасывался по всем видам и направлениям труда, чтобы утолить кипение своей крови, жаждущей разлиться по жилам сверхмощного, сврехтребовательного государства. Жены могли не бояться соперниц, потому что мужья сгорали и истощались совсем в другом, необъятно-вместительном лоне, где у них тоже не было соперников, а только напарники и партнеры.

Экономико-эротическая метафора Мандельштама очерчивает то сплетение двух сфер, которое ускользает от политической экономии, потому что неведомо прежним цивилизациям. Пожалуй, впервые в истории хозяйственный организм столь глубоко пронизан духом оргии, именуемой всенародным энтузиазмом. "Берись, хватай, качай, держи, даешь, ударим, выдадим!" И тогда по-новому просматриваются фигуры организаторов этих оргий; бессмертных затравщиков, застрельщиков, героев и корифеев, — профоргов, группоргов, комсоргов, культоргов. От их бесчисленных заседаний, собраний, совещаний и слетов веет знакомым духом застарелого распутства, ритуального всесмешения и всеподмены, которое лишь в лучшем случае ограничивается словоблудием — оральным сексом, но часто переходит и в состыжание другого рода: кто поставил больше галочек, одержал больше побед, больше наворотил, сокрушил, разделал, задвинул, вогнал. Узнаются жесты подворотен, мимика кутежей, о которых вроде и знаешь только понаслышке. В жизни где они? — да вот, на трибуне! Профсоюзная организация! Комсомольская организация! Пионерская организация! И тогда, в бурливом обществе всех этих "профоргов" и "комсоргов", само слово "организация" вспоминает свой забытый корень: "оргия".

Москва, 1980



Г. Померанц

ПРИНЦИПЫ ЛИБЕРАЛЬНОГО МИРОУСТРОЙСТВА И ТРАДИЦИИ СУБЭКУМЕН

Всякий разговор о будущем требует выяснения, что можно и что нельзя предвидеть. Область предвидимого захватывает не всю ткань истории. Непредвидимо все личное. В начале VII в. никто не мог бы предсказать ислам. Без Мохаммеда его не было бы; так же как монгольских завоеваний без Чингисхана, гитлеризма без Гитлера. Можно считать закономерным, что около Р.Х. (плюс-минус несколько сот лет) возникли мировые религии, но какие именно? В какой форме? Вполне мыслимо, что мировой религией Запада стал бы неоплатонизм, что ни христианства, ни ислама не было бы вовсе. Для этого достаточно смерти Иисуса, сына Марии, от какой-то детской болезни.

Перечислим сперва закономерное. В течение тысяч лет происходят накапливающиеся процессы: рационализация отношений с природой, дифференциация культуры, социальные дифференциации, рост производительных (и разрушительных) сил, рост населения. Эти процессы расшатывают единство общества и тождество человека с самим собой. Выходом из кризисов развития оказывается переоценка ценностей, возрождение чувства целого, создание новых систем символов, воссоединяющих человека с собственной глубиной и людей — друг с другом. Рационально разрешимые задачи отодвигаются на второй план, — по крайней мере, в теории и в судьбе людей, живу-

щих согласно теории. Меняются мифы. Прометей и Одиссей уступают место святым; Данте отправляет Одиссея в ад. Затем происходит посмертная реабилитация. Гомера снова изучают в школах, философия, основанная на греческом плюрализме, оттесняет схоластику, демифологизация сознания, начатая софистами, бурно продолжается, наука творит чудеса... И после нескольких веков прогресса начинается новый кризис. Снова встает вопрос — как из него выйти? Как решить задачу, которую в свое время и на своем месте решили буддизм и христианство?

Острое сознание этой задачи и образ ее решения оставил Даниил Андреев (1906-1959), поэт и мыслитель, которого иногда называют "русским Сведенборгом" и "русским Данте". Заканчивая трактат "Роза мира", он вынужден был прятать последние страницы рукописи так же, как прятал первые. "Прежнему нет у меня уверенности, — писал Андреев, — что книга не будет уничтожена, что духовный опыт, которым она насыщена, окажется переданным хоть кому-нибудь...

Я принадлежу к тем, кто смертельно ранен двумя великими бедствиями: мировыми войнами и единоличной тиранией. Такие люди не верят в то, что корни войны и тирании уже изжиты в человечестве или изживутся в короткий срок. Может быть отстранена опасность данной тирании, данной войны, но некоторое время спустя возникает угроза следующих. Оба эти бедствия были для нас своего рода апокалипсисами — откровениями о могуществе Мирового Зла и о его вековой борьбе с силами Света...

Я тяжело болен, годы жизни моей сочтены (действительно, после десяти лет тюрьмы Андреев прожил на воле только два года, с 1957 по 1959, — Г.П.) Если рукопись будет уничтожена или утрачена, я восстановить ее не успею. Но если она дойдет когда-нибудь хотя бы до нескольких человек... идеи, заложенные в ней, не смогут не стать семенами, рождающими ростки в чужих сердцах.

И произойдет ли это еще до III мировой войны или после нее, или III война не будет развязана в ближайшие годы вовсе — книга не умрет все равно... потому что вопросы, на которые она пытается дать ответ, будут волновать людей еще и в далеком будущем.

Эти вопросы не исчерпываются проблематикой войны и

государственного устройства. Но ничто не поколеблет меня в убеждении, что самые устрашающие опасности, которые грозят человечеству и сейчас и будут еще грозить не одно столетие, это — великая самоубийственная война и абсолютная всемирная тирания... Может случиться... что через 100 или 200 лет возникнут новые опасности для народов, не менее глобальные, чем тирания и великая война, но иные. Возможно. Вероятно. Но никакие усилия разума, никакое воображение или интуиция не способны нарисовать опасностей грядущего, которые не были бы связаны, так или иначе, с одной из двух основных: с опасностью физического уничтожения человечества вследствие войны — и опасности его гибели духовной вследствие абсолютной всемирной тирании**.

За 30 лет после смерти Андреева появилось несколько новых жгучих проблем и несколько решений, казавшихся выходом из тупика, были опровергнуты. Мало кто ожидал, что стремительный выход Ирана из экономической слаборазвитости вызовет невыносимую психологическую напряженность и к власти придет Хомейни. В прошлом такие взрывы изменяли только поверхность истории, и при взгляде с птичьего полета от них можно было отвлечься. Харизматические лидеры приходили и уходили, а накопление производительных сил продолжалось, и продолжалось маятниковое движение от демифологизации к ремифологизации и к новому возрождению аналитического духа (античность — средние века — новое время). Неудачливые цивилизации гибли, но это не меняло картины. В устойчивых культурных коалициях, вооруженных философией и мировой религией, история продолжалась. Однако сегодня она может закончиться. Экологическая или другая напряженность толкает народы в объятия безумцев, безумцы развяжут войну — и наступит атомная ночь.

То там, то здесь возникает опасность социального спада — потери иммунитета к лжепророкам. Исторический процесс выбивает народ из привычных условий жизни, создает чувство беспомощности, затерянности, страха... В Германии 1933 года решающую роль играл экономический кризис, в Иране — психологический (неспособность мусульман вынести открытую зротику). В обстановке нарастающей истерии возникает

* Цитирую достоверную машинопись неопубликованного трактата.

ментальность пангурова стада (готовность броситься в пропасть вслед за обезумевшим бараном). Только в очень ограниченном числе стран идеи критически оцениваются, лидеров критически выслушивают, и утопия остается интеллектуальной игрой. Иммунитет (как показывает история Запада) накапливается медленно, а сдвиги происходят быстро, и слой, воспитанный в духе западной научной мысли, легко смывается социальным взрывом.

Второе условие катастрофы — харизматический лидер. Он знает, как надо, и убежден, что ему все позволено. Лидер впитывает в себя агрессивные чувства миллионов и находит им выход: уничтожить Врага.

Третье условие — великая цель. Цель, во имя которой необходима война (национальная или гражданская), цель, на пути к которой стоит Враг. Эта цель достаточно часто остается в области идей и практически не достигается, но какая-то идея, способная овладеть массами, необходима. Группа риска идей принципиально открыта. Опыт Ирана включил в нее мусульманский фундаментализм. Возможно движение (и тоталитарная система) с лозунгами экологического равновесия, спасения народа от наркомании и т.п. Цель вовсе не должна быть людоедской. Людоедство осуществляется на пути к цели. Если народ заболел социальным спидом и нашелся подходящий лжепророк.

Мой очерк проблемы несколько сложнее, чем ее рисует Даниил Андреев. Свободный выбор между всемирной тиранией и коллективным самоубийством кажется мне маловероятным. Тирания, возникнув (на какой-то части земли), резко увеличивает опасность войны и вплотную подводит к взрыву. Вся наша надежда в том, что большие страны, склонные к социальному спиду, кажется, уже переболели им и постепенно выздоравливают. Если же великие державы не будут терять здравого смысла, то взрывы в слаборазвитой Азии и Африке не прервут мирового процесса интеграции. Каким образом он может произойти? Какая модель победит?

В прошлом интеграция не шла дальше региональных коалиций, которые я предложил называть субэкуменами*, — и в каждой субэкумене сложилась особая структура отношений с

* Diogenes, 107 (1979), p. 3-26.

этносомами, попавшими в ее сферу. Китайский способ устройства Поднебесной оставляет этнические различия медленно распадаться в социальных низах империи, связывая грамотных единой иероглифической культурой, независимой от живого языка. Расовым различиям культурный китаец не придавал значения. Он мыслил веками и знал, что культура перемелет любые племена. Индийский способ истолковывает этнические различия как субэтнические, как еще одну касту в единой религиозно-кастовой системе, ничего не отвергающей, но все подчиняющей своей запутанной иерархии. Сильная группа покупала себе родословные и входила в варну кшатриев. Слабая — попадала в неприкасаемые. Средневековый ислам первоначально предполагал не только единую религиозно-правовую и политическую постройку, но и арабизацию. Однако иранцы сумели захватить приоритет в культуре, турки — в бою, и на развалинах халифата возникли враждующие империи, каждая из которых претендовала на ортодоксию и универсальность. Средневековый Запад ограничивался единством церкви и церковной латыни, предоставляя всем остальным историческим силам свободу, из которой выросла культура городов и замков, а потом — национальные культуры.

Корни этой новой, национальной формы общения уходят глубже средних веков, в греко-римскую античность. Первые цивилизации были уверены в своей уникальности и не хотели ни учить, ни учиться. Индийская и в особенности китайская цивилизация сознают свою учительскую миссию; но идея контакта на равных родилась только в греко-римской древности — "новой древности" сравнительно с тысячелетними культурами древнейшего Ближнего Востока.

В Индии и Китае ядром субэкумены были цивилизации, не встречавшие могущественных духовных соперников и постепенно, шаг за шагом, распространившиеся на огромное пространство. Этническое и глобальное здесь до конца не отделились друг от друга. Господствующий этнос совпадает с ядром субэкумены. Дочерние культуры, сохранившие самостоятельность, располагаются на островах и полуостровах, географически оторванных друг от друга, и не складывались в особый самостоятельный мир. Единое гигантское ядро господствует над периферией, и монизм системы подчеркивается слабостью бисубэкуменальных связей (слабые и односторонние связи

между Индией и Китаем — в противоположность тесным связям Восточного и Западного Средиземноморья). Только в Средиземноморье дочерние культуры сложились в самостоятельную субэкумену, свободную от архаической замкнутости. Все цивилизации, вошедшие в новый древний мир, были ученические. И между греками и римлянами постепенно установились отношения равноправного диалога. "Сравнительные жизнеописания" Плутарха — книга, одинаково охотно читавшаяся и теми, и другими. Ничего подобного нельзя себе вообразить в Китае до XX века и в Индии, по крайней мере, до Акбара.

Великие цивилизации Азии примерно до XVII века превосходили Европу по очень многим показателям. Но структурно, как тип развития, северное Средиземноморье вышло на новый уровень еще за 2000 лет до этого. И несмотря на тысячелетнюю полосу варваризации, плюралистическая структура в конце концов выявила свои динамические возможности.

Однако динамизм Запада может быть описан и негативно, как отсутствие стабильности, расколотовость духовного центра. Крушение Западной Римской империи не случайно. Индия и Китай не знали таких катастроф. И современный мир стоит на краю глобальной катастрофы благодаря разрушительным силам, развязанным Западом, а не Востоком. Вестернизация распространила кризис Запада на весь мир. Колониализм заставил усвоить "цивилизацию" (в терминах Шпенглера), но победы культуры, духовной победы не получилось. Даже в Африке ислам теснит христианство. А в Индии, в Китае миссионеры мало чего добились.

XIX век тешил себя иллюзией, что западный вариант развития полностью решает загадку истории и странам Азии и Африки остается только войти в сложившийся западный мир так, как это сделала Япония. Однако пример Японии — скорее исключение. Страна, сложившаяся на перекрестке субэкумен (индийской, воспринятой через буддизм, и китайской), с древности накопила способность к крутым поворотам и перемене ориентации. Вестернизация Китая, Индии, мира ислама была гораздо менее успешной. И дело здесь не только в запаздывании, а скорее в поисках иного пути, при гораздо большем удельном весе автохтонных традиций. Более того. На самом Западе духовный кризис вызвал потребность в импорте веданты, кришнаизма, дзэн, суфизма, восточного и африканского ис-

куссва. Нивелировка незападных культур по западному образцу никому сейчас не кажется идеалом. Однако проблема глобальной интеграции этим не снимается. Напротив, именно в XX-м веке она стала неотложной. Я полагаю, что она может быть решена в духе концерта субэкумен — т.е. переноса на отношения субэкумен той плюралистической структуры, которая сложилась в Европе в отношениях между нациями.

Европейский структурный принцип означает, однако, равноправность партнеров и требует отказа Европы от самосознания культурной нормы. Теоретически такой переход достаточно подготовлен. В высоколобых изданиях, наподобие *Philosophy East and West*, европейское мыслится как один из путей религиозно-философского развития наряду с другими. Однако система народного образования никак не приближает среднего европейца к пониманию современного мира, где под зонтиком единой научно-технической цивилизации жмутся четыре великие культурные коалиции, каждая из которых принципиально способна охватить весь мир. Дело не только в этноцентризме, который сохранился у европейских наций и в отношениях друг к другу (хотя нации, сравнительно с племенами и империями, — это открытые этнические организмы, обладающие качеством “всемирной отзывчивости”, совместно пережившие барокко, классицизм, Просвещение, романтизм и т.п., где бы эти течения ни начинались — в Испании, Франции, Англии, Германии). Как бы плохо английские школы ни знакомили с немецкой литературой (на что справедливо жалуется Ал. Штротмас*), невежество по отношению к Востоку в любой европейской стране на порядок больше, чем по отношению к нациям-соседкам. Помимо этноцентризма, существует еще европоцентризм, западноцентризм, поддерживающий (по закону психологической реакции) существование синоцентризма, исламоцентризма и т.п. центробежных движений.

Когда Кант предлагал свои принципы всеобщего мира, он исходил из духовного единства Запада, которое само собою разумелось. Все европейские структуры были сонаследниками еврейской Библии, греческой философии и римского права, со-

* Al. Shtromas. Universal values vs local preferences and guilt complexes in transition to global education. International conference on the unity of the sciences, 1988, Los Angeles.

единившихся в христианской цивилизации. Но когда сегодня те же принципы предлагаются в качестве глобальных ценностей, то надо подумать, в какой мере эти ценности подходят для мусульманина или китайца. Само понятие ценности отнюдь не универсально. Это довольно новая рубрика, за которой можно поставить без разбора религиозные святыни, философские принципы, политические принципы. Такой подход естественно сложился в развитии Запада, но он не безупречен и скорее маскирует развитие духовного кризиса, чем указывает на выход из него. В расплывчатом, лишенном внутренней иерархии понятии ценности скрадывается разрушение святынь, т.е. краеугольных камней культуры. Этот подход не удовлетворил бы Достоевского и сегодня не удовлетворит многих мыслителей Азии. Не удовлетворит в принципе — попыткой поставить постулаты секуляризованного разума на место Божьей воли, дхармы и т.п.

Практически-политически принципы Канта предполагают сообщество наций. Но это состояние еще должно быть достигнуто и не может быть достигнуто быстро. Китай — не нация, а империя. Европейской аналогией была бы уцелевшая Западная Римская империя или Византия. Даже в России (наследнице Византии) имперское сознание еще очень крепко и постоянно мешает развитию национального сознания в строгом смысле этого слова. Например, в 1968 году большинство поддерживало действия брежневской администрации в Праге — не по идеологическим соображениям, а по имперским: мы за это кровь проливали, мы это Западу не отдадим. Думаю, что в Китае имперское сознание еще крепче; против мирного присоединения Тибета, насколько мне известно, никто не протестовал. Не нашлось даже семи человек, чтобы выйти на китайское лобное место. Идея империи (халифата) жива и в исламе и переводится на современный политический язык в понятиях "арабская нация" или "нация ислама". Повсюду, где имперское сознание слилось с религиозным сознанием (исламом, православием, индуизмом, конфуцианством) семена Канта упадут на невспаханную почву и не взойдут. Даже если устранить некоторые разъяснения принципов Канта, предложенные Ал. Штрамасом с целью показать легитимность прав литовцев на Вильнюс и евреев на Палестину.

В любой конфликтной зоне сталкиваются два права, две правды, и никакие принципы, выгодные одной стороне, не бу-

дут приняты другой. Мы живем не в однородном мире, принципы которого могут быть рационально осознаны и последовательно проведены в жизнь, а в мире разнородном, логически абсурдном. Даже в такой европеизированной стране, как Россия, права человека совершенно не волнуют писателей, связанных с деревней и выражающих чувства нескольких десятков миллионов людей. Их волнует другое: слухи о вредоносном тайном заговоре масонов. Их обуревают раздражение и ненависть. Их цель, если пробиться сквозь уровень слов, — не мир, а поиски виновников мирового зла, которых следует истребить. Прежде чем говорить о принципах организации мира, нужна духовная основа мира — конец ненависти, свобода от темных мифов, основанных на травмированном подсознании.

Пока мы знаем чужое только как чужое, оно останется чужим. От чужой беды нетрудно отвернуться; чужое, если оно кажется вредным, хочется уничтожить. Только расширенное чувство своего способно стать основой глобального мира. И здесь религии, объединившие когда-то множество племен и народов в христианский мир и мир ислама, становятся препятствиями на пути к единству. Их уверенность в собственном превосходстве возрождает племенную обособленность и в некоторых регионах подкармливает племенной дух кровной местности. Их невозможно устранить (это опорные столбы культуры). Но пока они остаются полузакрытыми или вовсе закрытыми к диалогу, единая глобальная суперкультура немыслима; и приходится искать решения в духе шпенглеровской "цивилизации", в мире "ценностей", убедительных для разума и бессильных на уровне подсознания.

Сегодня невозможно сказать, каким будет общий знаменатель мирового концерта культур. Здесь, по-видимому, скажется чей-то неповторимый и непревосхитимый духовный гений. Но какой-то прообраз будущего набросан рукой поэта-мыслителя в Розе Мира Даниила Андреева, — унии всех светлых религий Запада и Востока. Догматические различия не казались Андрееву препятствием. Обладая личным опытом почти всех глубинных состояний (на сегодняшний день изученных психологами с помощью ЛСД), Андреев считал, что догматика религий семитического и индийского корня — просто записи различных форм духовидения, каждое из которых истинно, но не опровергает истинности другого (так же как "океаниче-

ческое чувство" не противоречит чувству "смерти-воскресения"). Поэтому различные догматы могут быть поняты как различные иконы одной великой тайны, разные лепестки единой мистической розы (отсюда название трактата). В Розе Мира сохраняется различие текстов, обрядов, молитв, но исчезает гордыня вероисповедания и становится невозможным оправдать свою ненависть к чужому защитой святости. Создается та чистая соль любви, которая (по Евангелию) должна просолить землю.

На сегодняшний день (через 30 лет после смерти поэта) это так же далеко от реальности, как в 1959 году. И гуманистический разум ведет почти безнадежную борьбу против этноконфессиональных страстей, разрывающих мир на части. А на родине поэта шовинизм пытается присвоить его наследие.

Поиски философских, правовых и политических принципов глобального единства имеют свою самостоятельную ценность. Я ни в коем случае не хотел бы преуменьшить ее. Однако я вспоминаю опыт безрелигиозной интеграции Евразии после 1922 года — и не думаю, что принципы либерализма, без сплыва с религиозными традициями, добьются большего, чем пролетарский интернационализм. Ближайшие десятилетия (и, может быть, века) — время паллиативных решений. Глобальная солидарность, сравнимая по своей интенсивности с национальной, — дело далекого будущего. И одной из форм подготовки этого будущего может быть религиоведение, исследуя аналогии (в терминах Р.Паниккара — гомологии) между символами разных религиозных систем, и психологическое исследование трансперсонального опыта, лежащего в основе всех религий.

Москва



Виктория Швейцер

МАНДЕЛЬШТАМ ПОСЛЕ ВОРОНЕЖА

Телеграмма, найденная мною в архиве, сообщала: "Дорога легкая короткая слушал щелкунчика смотрел Волгу Москву большой привет Яхонтову Мандельштам"¹. Она отправлена 26 июня 1937 года из поселка Савелово на Волге и адресована в Москву Лиле (Еликониде Ефимовне) Поповой, жене актера Владимира Николаевича Яхонтова. Очевидно, именно в этот день, 26 июня Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна Мандельштамы переехали и поселились в Савелове — иначе ему незачем было бы описывать дорогу.

Мандельштам вместе с женой вернулся из трехлетней ссылки в конце мая. Сам факт освобождения из Воронежа и возможность жить в своей собственной московской кооперативной квартире вселяли в обоих радужные надежды и ожидания. Даже подселенный к ним "писатель" и сотрудник "органов" Костырев на время исчез из квартиры. К ним приходили друзья. Мандельштам ходил и ездил по Москве, радовался свободе; обсуждались возможности получить работу и зарабатывать. Пока же, как и несколько предыдущих лет, они существовали в основном на добротные даяния друзей. Поначалу казалось, что Союз писателей готов принять участие в судьбе поэта: шли разговоры об устройстве вечера его стихов, его "прикрепили" к поликлинике Литфонда... Все воспринималось, как хорошее предзнаменование, а может быть, просто необходима была передышка и не хотелось заглядывать в реальность. Мандельштам продолжал — последнее воронежское стихотворение датировано 4 мая — писать стихи. Живое свидетельство о первых днях его пребывания в Москве сохранилось в письме Лили Поповой

к Яхонтову, бывшему в отъезде. Письмо написано между 6 и 9 июня 1937 г.:

“Как я провожу время? Большую часть времени у Мандельштамов. Союз их поддерживает, дает деньги, Осипа Эм. лечат врачи, на-днях стихи его будут заслушаны в Союзе, на специальном собрании... Они очень привязались ко мне (“всеми любимой, всеми уважаемой”). Осип Эмильевич, если не ошибаюсь, вздумал “открыть” меня. Но об этом поговорим по приезде, в этом я еще плохо разбираюсь, но кажется в ссылке* он помолодел лет на двадцать, выглядит хулиганистым мальчишкой и написал мне стихи, которые прячет от Надежды Яковлевны (!!). Если там вековые устои рушатся, то я об одном молю, чтоб не на мою голову.

Стихи эти явились в результате нашей прогулки в машине по городу.

Привожу их тебе:

С примесью ворона — голуби,
Завороненные волосы.
Здравствуй, моя нежнолобая,
Дай мне сказать тебе голоса,
Как я люблю твои волосы
Душные, черноглубые.

В губы горячие вложено
Все, чем Москва омоложена,
Чем молодая расширена,
Чем мировая встревожена,
Грозная утихомирена...

Тени лица восхитительны:
Синие, черные, белые.
И на груди — удивительны
Эти две родинки смелые**.
В пальцах тепло не мгновенное —
Сила лежит фортепьянная,

* Конечно, не в ссылке, но, возможно, от чувства свободы и ожидания перемен (В.Ш.).

** Сцилла и Харибда — примечание Е.Е. Поповой. Знаки препинания расставлены мною. В рукописи Поповой они почти отсутствуют (В.Ш.)

Сила приказа желанная.
Биться за дело нетленное...

Мчится, летит с нами едучи,
Сам ноготок зацалованный,
Мчится о будущем знаючи
Сам ноготок холодающий.
Славная вся, безусловная,
Здравствуй, моя оживленная
Ночь в рукавах и просторное
Круглое горло упорное.

Слава моя чернобровая,
Бровью вяжи меня вязкою,
К жизни и смерти готовая,
Произносящая ласково
Сталина имя громовое
С клятвенной нежностью,
с ласкою"².

В гораздо более поздних, чем это письмо, набросках воспоминаний Попова пишет, что услышала эти стихи в чтении Мандельштама у него дома в Фурмановом переулке в присутствии Ахматовой: "Однажды вечером я застаю у него Анну Ахматову, он читает ей свои только что законченные стихи в открытое окно — похоже, он читает Москве, вечернему городу..." Действительно, в этих стихах образ женщины как бы сливается с образом города, по которому поэт с нею "мчится". Разве не к Москве могут относиться слова:

Славная вся, безусловная,
Здравствуй, моя оживленная
Ночь в рукавах и просторное
Круглое горло упорное.

Здесь возможна ассоциация "рукава улиц" (ср. "рукав Жаркой шубы сибирских степей" из стихотворения "За гремучую доблесть грядущих веков..." или — по контрасту — "улиц перекошенных чуланы" и "мертвый воздух" из стихотворения "Куда мне деться в этом январе?..") и одновременно "Круглое горло упорное" — Красная площадь, о которой в стихах "Да, я лежу в земле, губами шевеля..." сказано: "На Красной площа-

ди земля всего круглей...". "Упорное горло" возвращает к стихотворению "Наушники, наушнички мои...", где с кремлевской площадью связываются звуки, исходящие из этого горла: "в полночь с Красной площади гудочки" и "часов кремлевские бои".

Об отношениях Мандельштамов и Яхонтовых и в то же время о некоторой отрешенности от реальной ситуации свидетельствует приписка Поповой в конце приведенного выше письма: "Мандельштамы предлагают сдать свою квартиру Союзу и взамен просить *общую дачу*. Вместе жить". (Яхонтовы в то время предпринимали шаги для получения участка и постройки дачи). Фантастичность этого проекта для Мандельштамов кажется очевидной. Союзу писателей не потребовалось разрешения хозяев, чтобы отобрать у них квартиру, не предоставив им взамен никакого жилья.

Мандельштаму не удалось долго наслаждаться хотя бы неизвестностью. Все планы и надежды рухнули в течение трех-четырех недель. Вечер поэзии, о котором упоминает Е.Е. Попова и на который, по словам Надежды Яковлевны, возлагал надежды сам Мандельштам, так и не состоялся, хотя разговоры о нем тянулись, видимо, еще довольно долго. В архиве А.Е. Крученыха сохранилась повестка:

"Тов. Уткину. Уважаемый товарищ! 15-го Октября в 6 часов вечера в помещении Союза Советских писателей состоится читка стихов Осипа Мандельштама, на которой просьба присутствовать. Секретарь бюро секции поэтов — Сурков"³. На конверте — примечательная надпись: "В/есьма/ срочно. С курьером". Она говорит о поспешности и необычности организации этого мифического вечера, но не может ответить на вопрос, зачем его все-таки пытались устроить и почему не устроили. Н.Я. Мандельштам вспоминает, что приехав в конце рабочего дня в Союз писателей и не найдя никого, кто бы занимался этим вечером стихов или собирался на нем присутствовать, они позвонили Н.Асееву, ответившему, что он торопится на "Снегурочку". Это звучит почти как дурной анекдот, но в "Известиях" за 15 октября 1937 г. черным по белому указано, что в этот вечер в Большом театре давали "Снегурочку".

"Один добавочный день" продолжался около месяца, в конце которого Мандельштам вместе с женой буквально высвирнули из Москвы: их лишили прописки и они потеряли не

только право на квартиру, купленную за большие по тем временам деньги, но и вообще право жить и находиться в Москве. Теперь каждая их ночевка в этом городе оказывалась нелегальной. Тогда-то они и перебрались в Савелово, выбранное исключительно за близость к Москве и легкость сообщения с ней.

Для нас Савелово важно не потому, что Мандельштам провел там несколько летне-осенних месяцев после воронежской ссылки. Нельзя сказать, что он жил там: как на пересадочной станции, он остановился в Савелове, ожидая возможности еще раз начать жизнь, вернуться к сколько-нибудь устойчивому существованию. Нас интересует Савелово потому, что здесь были написаны последние из известных стихов Осипа Мандельштама. Возможно, со временем исследователи будут говорить о "Савеловском цикле", как сейчас говорят о "Воронежских тетрадах" поэта. Я употребляю оговорку лишь потому, что цикл "савеловских" стихов не сохранился и еще десять-пятнадцать лет назад никто не подозревал о его существовании, а те немногие, кто знали, считали стихи безвозвратно исчезнувшими.

Об этих стихах упоминает в воспоминаниях о Мандельштаме Н.Е. Штемпель — верный друг Мандельштамов и хранительница "Воронежских тетрадей". Она услышала их в Савелове: "Полночи мы с Осипом Эмильевичем бродили по лесу вдоль берега Волги. Надежда Яковлевна с нами не пошла. Осип Эмильевич рассказывал мне, как они жили эти два месяца после отъезда из Воронежа, прочитал все новые стихи. Мне кажется, их было десять или одиннадцать. Насколько я помню, это были небольшие (по количеству строк) стихи, лирические, любовные... Стихи пропали при последнем обыске и аресте. Надежда Яковлевна не знала их наизусть, как знала воронежские. Списков ни у кого не было..."

Можно с уверенностью предположить, что Н.Я. не только наизусть, но и вообще не знала большинства из них именно потому, что они обращены к другой женщине: Мандельштам никогда не читал таких стихов жене. Так было прежде со стихами к Ольге Ваксель, к М.С. Петровых, так случилось с воронежским стихотворением "К пустой земле невольной припадающей...", обращенном к Н.Е. Штемпель. Я имела случай убедиться в этом, когда нашла в архиве и принесла Надежде Яковлевне два "савеловских" стихотворения: приведенное выше и "Стансы", о

которых речь впереди, — она впервые услышала их из моих уст. Не буду подробно останавливаться на ее реакции на эту мою находку. Резонным и существенным показалось мне огорчение, что эти, явно не доработанные и слабые для Мандельштама, стихи, окажутся последними в его собрании сочинений... "Я впервые приревновала Осю" и "лучше бы вы их не находили", — сказала Н.Я. Мне показалось, что, если она когда-то и догадывалась об увлечении Мандельштама Лилей Поповой, то за прошедшие годы постаралась о нем забыть. Стихи напомнили об этом. Письмо Лили к Яхонтову я ей, конечно, не показала.

Кто же была женщина, которой после десяти лет знакомства так неожиданно для нее самой увлекся Мандельштам?⁴

Яхонтовы и Мандельштамы познакомились зимой 1927 года, когда и те, и другие жили в Царскосельском Лицее. В записях сороковых годов Е.Е.Попова так вспоминала об этом знакомстве:

"Они жили тут же в северной половине Лицея.

Однажды, привлеченный тем, что кто-то с увлечением читает передовую газеты "Правда", О.М. постучал к нам в дверь и попросил папирос.

В замочную скважину были переданы папиросы. Так состоялось знакомство. Позднее мы у них стали бывать.

Мандельштам собирал в это время книгу своих стихов. Мы рассказывали ему о нашей работе и показывали куски в рабочем плане. Это был взволнованный, страстный слушатель, весь закипал. Очень интересно говорил и, запрокинув голову, расхаживая, читал свои стихи. Часто по-мальчишески хулиганил. Они задолжали во все ларьки, в какие только было можно — мясникам и бакалейщикам. Когда ему хотелось шоколаду, он подбивал Яхонтова на эту диверсию. Возникал какой-то сложный план очарования бакалейщика, чтобы раздобыть плитку шоколада. Он привлекал ряд цитат из своих стихов и готовил речь.

Однажды в первомайские дни мы остались без куска хлеба. Администратор забыл про нас. Я из теплых перчаток соорудила окорока и украсила бумажками, как это бывает на праздничных столах. Наш стол был составлен сплошь из бутафорских вещей. Мы пригласили Мандельштамов и долго веселились. В награду за нашу выдумку, они пригласили нас к себе на обед и накормили"⁵.

Знакомство перешло в дружбу между Мандельштамом и Яхонтовым. Яхонтов любил поэзию Мандельштама; Мандельштама увлекало уникальное искусство яхонтовского “театра одного актера” — свидетельство тому его статья “Яхонтов”. Бывая в одном городе, они встречались: Мандельштам читал новые стихи, Яхонтов знакомил его со своими программами, прислушивался к его советам. Н.Е.Штемпель с удивлением вспоминает, что Яхонтов считал Мандельштама своим учителем. По-видимому, так и было в действительности; это косвенно подтверждается в письме Е.Е.Поповой к сестре (2 января 1928 г.): “он /Яхонтов — В.Ш./ повторял строфы “Медного Всадника” и ломал голову над раскрытием пушкинского стиха. Со времени близкого знакомства с некоторыми ленинградскими поэтами* мысль, что актеры делают из стиха прозу, не оставляла его”⁶.

В архиве Яхонтова сохранилось несколько разрозненных дневниковых набросков, связанных с Мандельштамом. К сожалению, работая после смерти Яхонтова над его книгой “Театр одного актера”, Попова резала, переклеивала, меняла местами все шедшие в дело материалы, — так что теперь трудно установить не только их хронологическую последовательность, но зачастую и характер: кусочек ли это письма, дневника или позже записанное воспоминание. Однако, то, что я хочу здесь процитировать, по моему определению, безусловно относится к непосредственным дневниковым заметкам. Именно этим они особенно интересны, ибо показывают Мандельштама в живом общении с людьми и отклик людей — близких, как Яхонтов — на него и его стихи. Эти заметки относятся к 1931 г. Середина марта: “Вчера вечером Осип Мандельштам читал нам свою “Армению” и петербургские небольшие вещи. И то, и другое поражает своей суровой трагичностью и простотой. Он проходит мимо эпохи кустарниками и виноградниками Армении и опустевшими улицами северного города “с рыбьим жиром фонарей”. Подлинно

“из тяжести недоброй
и я когда-нибудь прекрасное создам”...”⁷

Характерно для времени яхонтовское определение “он прохо-

* Попова не называет Мандельштама, возможно, потому что сестре ничего не говорило это имя.

дит *мимо эпохи*": видеть непарадную, неофициальную сторону происходящего значило видеть "мимо", ничего не понимать, быть против...

С Яхонтовым Мандельштам был откровенен; по всему, что мы о нем знаем, Мандельштам представляется человеком прямым, временами и резким — и поэтому меня удивили слова о "лукавстве" в другой записи Яхонтова, очевидно, непосредственно связанной с предыдущей:

"Смотрю на снимок, который висит у меня над постелью. Сталин и Ворошилов. Мне очень нравится этот снимок — вот два человека, которые смотрят вперед вместе со всей своей молодой страной.

Осип Мандельштам смотрит назад. Он говорит: "Я вовсе не хочу быть человеком, который говорит под руку: таскать вас — не перетаскать". Его лукавое желание выручает зрелое перо, расписывающее розы и камни в Армении и гранитные плиты умирающего Санкт-Петербурга. У него в Армении много о розах"⁸.

Очевидно, Яхонтов видит лукавство в том, что Мандельштам, даже если и не желает новому (не такому уж и новому — идет 1931 год!) обществу провалиться во всех его начинаниях, не поддерживает его своим "зрелым пером". Он не чувствует или не хочет проникнуть в мандельштамовскую глубину как в приятии жизни такой, какой она тебе дается, так и в протесте против всего, что ее искажает. Случайно ли он называет город Санкт-Петербургом, в то время как стихи Мандельштама названы "Ленинград"? Ему явно спокойнее свести "Армению" и "петербургские стихи" к пейзажу...

О глубоких разногласиях между Яхонтовым и Мандельштамом, о трагическом восприятии последним непонимания даже близких людей свидетельствуют записи Яхонтова. Вот одна из них, сделанная, очевидно, в середине марта, непосредственно после чтения Мандельштамом стихов "За гремучую доблесть грядущих веков...":

"Наш век — мне он не волкодав, а товарищ, учитель, друг, воплощенный в лице Ленина, которого я люблю и перед гениальностью которых (так! множественное число не говорит ли о том, что в подсознании звучала формула "Ленина и Сталина"? — В.Ш.) преклоняюсь, нет, какой же волкодав, откуда — век отошедший, век Победоносцева — вот волкодав. Наш..."⁹ Здесь

рассуждение Яхонтова обрывается: возможно у него не хватило убедительных для самого себя аргументов в споре с Мандельштамом, а может быть, он был слишком взволнован, чтобы продолжать. С этой записью связана другая, сделанная несколько месяцев спустя и датированная: Июль 31 г. Москва. "Снова Мандельштамы. Снова я потрясен этой мудростью его стихов (он читал мне новые), их зрелостью с явной печатью гениальности. Тут у него появляется горькое веселие, ирония (нет, нечто несравненно более глубокое), как будто он пытается вздохнуть глубоко и наполнить легкие пылью и испарениями обильно покрытых тротуаров.

На этот раз протест мой был много слабее, чем до отъезда, когда он затравленным волком готов был разрыдаться и действительно ведь разрыдался, падая на диван. Тут же только прочел нам (кажется, впервые и первым) — мне на плечи бросается век-волкодав, но не волк я по крови своей..."¹⁰. За прошедшие месяцы протест против "века-волкодава" ослабел, ощущение "поэтической правоты" Мандельштама пробивалось в жгущем воспоминании о рыданиях, сотрясших поэта в споре о времени.

К чести Яхонтова надо сказать, что вне зависимости от политических расхождений он продолжал любить поэзию Мандельштама и постоянно помогал ему деньгами. Когда я показала Н.Я. Мандельштам телеграмму, с которой начинаются эти заметки, она сказала о Яхонтовых: "Они нас тогда кормили". За время воронежской ссылки поэта Яхонтов приезжал туда на гастроли вместе с Лилей... Для меня особенно показательно то, что в композицию "Новые плоды" ("о Мичурине и социализме", по определению Поповой), работа над которой проходила в 1935 г., когда Мандельштам отбывал свою воронежскую ссылку, Яхонтов предполагал включить его стихи и отрывок из "Юности Гете"...

Лиля Попова была необычайно хороша собой: темноволосяя, с правильными чертами лица, огромными черными глазами, стройная. Она была и талантлива: всерьез увлекалась театром, рисовала, мечтала стать художницей, театральным режиссером. В 1922 г., совсем девчонкой (она родилась в 1903) Лиля приехала с Яхонтовым в Москву — смотреть, слушать, учиться, жить... Она не получила никакого систематического образования; школой стали для нее репетиции Мейерхольда, на

которых она присутствовала весь тот недолгий год, пока Яхонтов работал в его театре. Жизнь сложилась так, что Попова оказалась режиссером одного Яхонтова, соавтором и соучастником постановок театра одного актера.

По тому, что я о ней знаю, Попова представляется мне человеком довольно замкнутым, скорее наблюдателем, чем участником той "светской" жизни, в которую была вовлечена как режиссер и жена известного актера. Вот какой она запомнилась Н.Е. Штемпель, побывавшей у Яхонтовых вместе с Мандельштамом в самом начале 1938 г.: "Стол накрывала Лиля, жена Яхонтова. Очень красивая женщина, строго одетая, тихая, молчаливая, совершенно лишенная кокетства. Она даже не включилась в общую беседу. Ее поведение чем-то удивило меня, и в то же время я любовалась ею".

В кругу знакомых Мандельштама, вообще в том "советско-светском" кругу, куда она попала благодаря Яхонтову, Лиля была фигурой довольно необычной. Дочь железнодорожника с Северного Кавказа, она выделялась своим "пролетарским", как тогда говорили, происхождением. Она сформировалась в рабочей среде в годы войны и революции и была одной из тех, кто верил в идеи революции и в происходящем видел их воплощение. Когда Н.Я. Мандельштам иронически пишет о Поповой как о "сталинистке умильного типа", — это ирония с дистанции десятилетий, отделяющих события от времени написания ее книг. На самом деле, та безоглядная вера, которой верила Лиля Попова, сегодня производит впечатление одновременно и страшное, и жалкое и вызывает чувство растерянности: как они могли не видеть, не понимать? Тем ее менее, есть в этой вере своя честность, вызывающая уважение. Лиля не притворялась ни перед другими, ни перед собой; в ее вере была слепота, но не было приспособленческого цинизма, как у многих людей того круга, в котором она жила. Вероятно, это почувствовал в ней Мандельштам и это, в частности, привлекало его в Лиле. Вот обращенные к ней стихи.

СТАНСЫ

1.

Необходимо сердцу биться:
Входить в поля, вростать в леса.
Вот "Правды" первая страница,
Вот с приговором полоса.

2.

Дорога к Сталину — не сказка,
Но только — жизнь без укориэн:
Футбол для молодого баска,
Мадрида пламенная жизнь.

3.

Москва повторится в Париже,
Дозреют новые плоды.
Но я скажу о том, что ближе,
Нужнее хлеба и воды.

4.

О том, как вырвалось однажды:
— Я не отдам его! — и с ним,
С тобой, дитя высокой жажды,
И мы его обороним.

5.

Непобедимого, прямого,
С могучим смехом в грозный час
Находкой выхода прямого
Ошеломляющего нас.

6.

И ты прорвешься, может статься,
Сквозь чащу прозвищ и имен
И будешь сталинской зваться
У самых будущих времен...

7.

Но это ощущение сдвига,
Происходящего в веках,
И эта сталинская книга
В горячих солнечных руках

8.

Да, мне понятно превосходство
И сила жейщины — ее
Сознание, нежность и сиротство
К событьям рвутся — в бытие.

9.

Она и шутит величаво
 И говорит, прощая боль,
 И голубая нитка славы
 В ее волос пробралась смоль.

10.

И материнская забота
 Ее понятна мне — о том,
 Чтоб ладилась моя работа
 И крепла — на борьбу с врагом.

4-5 июля 37 г., Савелово¹¹

Контекст этих стихов трагичен. Совсем недавно Мандельштам кончил и отправил по назначению "Стихи о Сталине", "оду", над которой мучительно работал в начале года. Уже ясно было, что ода своего назначения не выполнила, уже была просьба к Наташе Штемпель уничтожить текст этого стихотворения. Подходил к концу последний в жизни Мандельштама "добавочный день". И тут снова явилась Лиля Попова с ее верой, с ее любовью и восхищением Сталиным, с ее наполненностью им: его прошлым, его нынешними успехами, его речами... Как раз в это время Попова и Яхонтов работали над огромной, все разраставшейся композицией, посвященной Сталину. Она была задумана к двадцатилетию Октября, но бесконечно затянулась и так, кажется, никогда и не появилась на эстраде. Мандельштам был в курсе этой работы, Лилия ему подробно о ней рассказывала. Она читала и перечитывала все, опубликованное Сталиным, все, что было написано о нем, изучала тома классиков марксизма-ленинизма. "Я не могу не гордиться тем, что живу сегодня в нашей стране, — сказано в одной из ее заметок того времени. — Вот почему необходимо изучать еще и еще Ленина—Сталина—Маркса, нужно прививать художественный вкус к марксистской мысли, любовь к ней, восхищение величием этих мыслей, двигающих прогрессом человечества"¹². Она и ее помощник тонули в ворохах газет, из которых делали бесчисленные вырезки. Был даже куплен патефон, чтобы слушать речи Сталина в его собственном исполнении. В записках Поповой не раз упоминается об этом времени и работе: "...Иногда мы ложились в пять часов утра, и уже к десяти мы снова сидели за

столом и шуршали бумагой. Постепенно мы стали утопать в гряде выписок... по комнате развевались длинные ленты наших рулонов... Наступило двадцатилетие Октябрьской революции — мы продолжали лихорадочно работать. Теперь уже нужно было спешить с работой к Всесоюзным выборам в Верховный Совет. Мы в шутку говорили, что в мае пронесут еще раз мимо наших окон красные знамена на майский парад, а мы будем продолжать доклеивать страницы наших бесконечных рулонов. И наша шутка в дальнейшем превратилась в действительность"¹³. (Это значит, что в день, когда в последний раз был арестован и увезен на смерть Мандельштам, Попова продолжала готовить композицию во славу Сталина). К этой заметке сделана приписка: "Приезжает Мандельштам из Савелова и "Стансы"". Приписка как будто связывает стихи Мандельштама с поповско-яхонтовской работой о Сталине. Не уговаривала ли Лиля Мандельштама написать стихи для их композиции? В одном из писем сестре она жаловалась на недостаток "художественного материала": "Что делают наши литераторы, неизвестно. Мы ругаем последними словами нашу литературу. Живут в роскошных квартирах, зажирили, ездят в собственных машинах, а безграмотны, не знают Истории партии, не видят тем. Бить их надо"... Не явились ли "Стансы" в какой-то мере ответом на лилино предложение? В таком случае и они явно не могли бы выполнить своего назначения. Да ведь Мандельштам уже и ответил в "Стансах" 1935 г.: "работать речь, не слушаясь, сам-друг".

Текст стихотворения не менее трагичен, чем его контекст. В нем борется желание быть "как все", принять лилину правду — и невозможность этого. Начинается с первой строфы:

Необходимо сердцу биться...

но

Вот с приговором полоса... —

— жизнь не принадлежит тебе, естественное для Мандельштама единение с природой разрушается посторонней и неодолимой силой, на этот раз воплощенной в газете "Правда". Кстати, просматривая газету тех дней, видишь, как ежедневно сообщается о разоблачении какого-либо известного деятеля, о начавшемся или закончившемся судебном процессе, о чем-то самоубийст-

ве. Так, 1 июня появилось известие о самоубийстве Я.Б. Гамарника ("бывший член ЦК ВКП (б) ... запутавшись в своих связях с антисоветскими элементами и, видимо, боясь разоблачения"); 5 июня — передовая: "Беспощадно громить и корчевать троцкистско-правых шпионов"; 8 июня статьей без подписи началась травля знаменитого врача профессора Плетнева: "Профессор — насильник, садист", закончившаяся его арестом и гибелью; 11 июня на второй странице сообщалось об окончании расследования и передаче в суд дела Тухачевского, Якира и других военачальников, а на шестой — "Испанские футболисты едут в СССР": "В составе команды басков — 9 бойцов республиканской Испании. Они были отозваны с фронта и поехали в Европу демонстрировать успехи спорта республиканской Испании и собирать средства для борьбы испанского народа против интервентов". У Мандельштама:

...жизнь без укориэн:
футбол для молодого баска,
Мадрида пламенная жизнь...

12-го июня на второй странице — приговор по делу Тухачевского, Якира и других военачальников, а сразу под ним — стихи Демьяна Бедного "Мы нанесли врагу жестокий контрудар!":

Чудовищно! Вместить как трудно мне в слова
Все то, чего вместить не может голова...

.....
Как он отвратен — шип шпионских голосов!
Как безобразен вид врагов, среди нас ходивших!
За матерей нам стыдно, породивших
Столь небывало-гнусных псов!..

17-го июня — радостное известие, подкрепленное столь же радостной фотографией: "Баскские футболисты приехали в Москву", а в разделе "Хроника" — заметочка: "Председатель ЦИК Белорусской ССР А.Г. Червяков 16 июня покончил жизнь самоубийством на личной семейной почве"...

Мандельштам и Попова читали одни и те же газеты и одинаково внимательно, но воспринимали события по-разному. Очевидно, Мандельштам разговаривал с Яхонтовым и о том, что не могло не волновать всех, пытался определить свой взгляд на

происходящее и свое к нему отношение; это ясно из третьей и четвертой строф. Третья как бы суммирует рассуждения Поповой о неизбежности мировой революции:

Москва повторится в Париже,
Дозреют новые плоды...

(Яхонтов уже читал ему свою композицию "Новые плоды") — и тут же перебивает: но... "Но я скажу" — о другом: не о мировой революции, созревающей в мичуринских садах и яхонтовской композиции, а о женщине, о ее наивной, неоправданной, но чистой вере: "дитя высокой жажды". Вероятно, Мандельштам пытался эту веру поколебать, "отнять" у Лили Сталина, лишить его так необходимого ей ореола. "Я не отдам его!" — скорее всего эти слова действительно были произнесены Лилей в одном из споров.

Хочу отметить, что в дневниках и записях Поповой виден ее острый глаз, трезвая оценка людей, их речей и поведения. Позволю себе сделать отступление, чтобы привести одну из ее записей; она представляет интерес в разных аспектах. Речь идет, по-видимому, о весне 1938-го года.

"В писательском доме разрабатывается программа приемных дней. На первый приемный день меня пригласила Соболева. Я приезжаю во второй половине дня, примерно в часов 6 вечера. В столовой организована выставка какого-то художника.

Большой съезд: Соболева в большом волнении, словно она хозяйка бала, она недовольна, что опять стоят по-казенному стулья рядами, а не кресла полукругом у камина, как в буржуазных салонах. Ее длинное черное платье злобно поблескивает.

Бабель внизу, в столовой, читает свои рассказы о том, как он был с визитом у проститутки. В публике кто-то шепчет: он два раза носил эти рассказы в редакцию, резались.

Через полчаса, дослушав Бабеля, вся публика ринулась в библиотеку. Там Вера Инбер, с видом испуганной куропатки, читает свои тбилисские дневники. В конце она поднимает бокал за Сталина. Аудитория окаменела. По лицу ее пробегает радуга смущения — она зеленеет, краснеет, но аудитория по-прежнему дружно молчит: ни хлопка, ни вздоха сочувствия, ни порицания. Инбер с треском проваливается*.

* Надеюсь, что это факт, а не позднейшая aberrация памяти, но, как и Попова, не решаюсь его комментировать.

На смену Инбер появляется Пастернак. Он читает перевод Верлена. (Вот это очень трудно рассказать). Пастернак, будто преодолевая мучительное косноязычие. Вытянув длинную шею, он произносит (страшный образ напрашивается — он вытягивает шею так, будто у него на шее веревка висит) он говорит вступительное слово.

Каждую строчку стихов Верлена аудитория глотает с жадностью, с пересохшим от жажды горлом и все время еще раз переводит Верлена, как-то расшифровывая его. Стихи приобретают страшную злободневность, и еще через мгновение кажется, что присутствуешь на конспиративном собрании*.

В тот день я поняла, что существует система ассоциаций, второй язык, с каким-то трепетом, с содроганием подхваченный присутствующими. Выступление закончилось бурей аплодисментов. Шелест проходил такой: да, все понятно. Он был произведен в тот день в мученики, в апостолы, в вожди"...¹⁴

Очевидно, что это не дневник, а более позднее воспоминание, но даже и теперь, понимая настроение и мотивы поведения людей, Попова не решается на обобщение, не доводит свою мысль до конца. Легко представить, что в те времена, о которых идет речь, ее наблюдения не связывались с кардинальными событиями времени, определявшими настроение. поведение, слова, а зачастую и взгляды людей.

Характеристика Сталина и эпохи, данная Мандельштамом в "Стансах", так же неоднозначна и даже двусмысленна, как и в "Стихах о Сталине", хотя, на мой взгляд, "Стансы" звучат менее трагически, более светло, чем "ода" — и это связано с женщиной. Станным образом, в обоих стихотворениях Мандельштам передоверяет возможность воспеть вождя другому лицу: в "Стихах" — художнику ("я", от имени которого ведутся стихи, ничего не меняет; одновременно в другом стихотворении Мандельштам заявил: "И не рисую я, и не пою..."), в "Стансах" — женщине. Пытаясь создать оду, поэт в растерянности не находит ничего, что можно воспеть, кроме какого-то неопределенного "плана"; ему навязчиво вспоминаются несчастья, которые он спешит объявить случайными:

* Посылая двукоронной сестре Ольге Фрейденберг книгу "Избранные переводы", Пастернак писал 15 ноября 1940 г.: "...выбор случайный, больше половины — вещи безразличные для меня, но среди них, между прочим, и очень важный для меня Верлен".

Несчастья скроют ли большого плана часть,
Я разыщу его в случайностях их чада...

(Так в "Стансах" прежде всего вспоминается газетная страница с приговором). Не находя деяний для прославления, "художник" пытается нарисовать портрет вождя на трибуне в момент, когда он обращается к народу. Но вместо народа — хотя бы в общепринятых тогда в советской поэзии штампах — Мандельштам видит — с трибуны, с точки зрения Сталина — "бугры голов":

Он свесился с трибуны, как с горы,
В бугры голов!..

Старшний образ одинаково остриженных, одинаково безликих голов-бугров, образ лагерной толпы, массовой гибели (вспоминаются слова "с гурьбой и гуртом" из "Стихов о неизвестном солдате") еще раз возникает в последней строфе "Стихов о Сталине", принимая форму бесчисленности и бесконечности:

Уходят вдаль людских голов бугры:
Я уменьшаюсь там...

Поэт — в толпе, среди таких же, как он, незаметных и неотличимых "бугров". Его нельзя отождествлять с "художником"; художник стоял бы ближе к трибуне, у него в руке альбом и уголь, что само по себе делает его заметным. В "Стансах" нет такого раздвоения, там "я" — это я, поэт. Интересная деталь: в предпоследней строке "Стихов о Сталине" — "Есть имя славное для сильных губ чтеца..." — появляется еще один участник действия — чтец. Для меня несомненно, что, осознанно или нет, Мандельштам вспомнил здесь о Яхонтове и его политических композициях...

Диссонансом с реальностью звучит строка "И мы его обороним" в "Стансах" и дважды повторенная "Художник, береги и охраняй бойца" в "Стихах о Сталине". Почему, от кого, кто должен и может "оборонить", "беречь", "охранять" человека, выносящего приговоры ("как подковы кует за приказом приказ", написано еще в 1933 г.)? Мне казалось это выражением

убежденности Мандельштама в непобедимой силе искусства: поэт способен вынести приговор, который "оборонит" или погубит в веках имя всеильного владыки. Но на первом Международном симпозиуме по Мандельштаму, состоявшемся в г. Бари (Италия) летом 1988 г., профессора И. Серман и Б. Гаспаров возразили, что в те годы жило сознание, что война в Испании — не с Франко, а с фашизмом, что это — начало Второй Мировой войны, что надо оборонять Сталина и его дело от фашизма. Да и самого Сталина надо оборонять от врагов... Я не могу с этим согласиться, не думаю, чтобы Мандельштам при его уме, политической и исторической прозорливости мог придерживаться подобной точки зрения; говорю об этом лишь из желания быть объективной. Зачем и как оборонять того, кто сильнее всех?

Непобедимого, прямого,
С могучим смехом в грозный час
Находкой выхода прямого
Ошеломляющего нас.

Могучий смех (в "оде" были "могучие глаза") в грозный час — нечто дьявольское, противоестественное, вроде смеха колдуна в "Страшной мести" Гоголя. И прямой выход из грозной ситуации, "ошеломляющий" окружающих, не обязательно несет положительную оценку: ужасное тоже может ошеломить.

Интересно, какими прозвищами называли они в разговорах свое время?

И ты прорвешься, может статься,
Сквозь чащу прозвищ и имен...

Мандельштам согласен с Лилей, что когда-нибудь их эпоха будет называться именем Сталина:

И будешь сталинской зваться
У самых будущих времен...

Он констатирует безоценочно и даже безэмоционально. Однако его собственное отношение прорывается в следующем за этими словами "но":

Но это ощущение сдвига,
Происходящего в веках,
И эта сталинская книга
В горячих солнечных руках...

"Но" отрицает сталинскую эпоху. Происходящий на глазах "сдвиг", смена эпох ("кто сдвинул мира ось" — в "Стихах о Сталине") не могут оправдать того ужаса, о котором умалчивают "Стансы". И одновременно "но" связывает эпоху с женщиной, к которой обращены стихи, с женщиной, всей силой и нежностью эту эпоху принимающей, оправдывающей, восхищающейся ею. Чувство к женщине окрашивает все стихотворение, свет и тепло ее рук хотя бы на мгновение рассеивают мрак... Женщина притягивает поэта, в его словах нет иронии, он действительно хочет видеть в ней величавую правоту, которая — когда-нибудь — возможно — сможет послужить оправданием происходящему. Трагическое восприятие времени поэтом в "Стансах" существует глубоко в подтексте, как и противопоставление взглядов его и героини-адресата стихов. Зато "сиротство" в восьмой строфе и "материнская забота" в десятой связывают лирических героев друг с другом и со временем, в котором Мандельштам каждого ощущает сиротой.

Иронически — может быть неосознанно? — окрашены последние строки "Стансов":

Чтоб ладилась моя работа
И крепла — на борьбу с врагом.

Ему ли, отторгнутому от общества, носящему клеймо "врага народа", бороться с врагами?

Из известных теперь "савеловских" стихов три обращены или связаны с Лилей Поповой: "С примесью ворона — голуби...", "На откосы Волга хлынь, Волга хлынь..." и "Стансы". Но было еще по крайней мере одно — "Черкешенка", о котором говорила мне Н.Я.Мандельштам. Родом Попова с Северного Кавказа, в ее внешности Мандельштаму виделось нечто экзотическое, нерусское, даже не европейское: "смоль" волос, "завороненные волосы", "душные, черноглубые", "чернобровая"...

Чародей мешал тайком с молоком
Розы черные лиловые
И жемчужным порошком и пушком
Вызвал щеки холодовые...

.....
Как досталась — развяжи, развяжи —
Красота такая галочья
От индийского раджи, от раджи...

(“На откосы Волга хлынь, Волга хлынь...”)

Возможно, “Черкешенка” была связана с рассказом Лили, как однажды горцы пытались купить ее у деда, и потому Мандельштам прочел его жене. Рассказ Поповой сохранился в ее воспоминаниях. “Меня совсем не оскорбил забавный случай с моим дедом, когда горцы покупали меня у деда за стадо овец. Мне было семь лет”... Они с дедом сидели на маленьком вокзале, ожидая поезда, когда к ним подсели горцы. “Вдруг один из них обратился к дедушке на своем языке. Дедушка покачал головой и сказал: “Не понимаю”. Они рассмеялись и не поверили. Я посмотрела на дедушку. Действительно, дедушка очень на них похож. У него такой же нос с горбинкой и черные глаза... Они долго смотрели на меня, сверкая зубами, переглядывались между собой. Наконец один из них сказал по-русски: “красивая дочка!” и щелкнул языком. “Внучка”, — сказал дедушка. “Продай внучку”, — сказал он. Все заговорили и защелкали языками. Дедушка смутился и отрицательно замотал головой. “Хочешь стадо овец? Коней? А?” — и он сверкнул белыми зубами. Дедушка снова замотал головой, а я подумала: разве внучки продаются?”¹⁵

Кажется, что отношения с Яхонтовыми не оставляли желать лучшего: Яхонтов и Мандельштам любили друг друга, Яхонтов высоко ценил поэзию Мандельштама, Мандельштам интересовался их с Поповой работой; между Яхонтовым и Мандельштамом существовало — пусть и не безоговорочное — взаимопонимание. Мандельштам знакомил Яхонтовых со своими друзьями; сохранилась запись Поповой о посещении с Мандельштамом В.Б.Шкловского; Н.Е.Штемпель вспоминает, как Мандельштам привел ее к Яхонтовым. Яхонтовы “кормили” Мандельштамов. Это и называется дружбой. Но дружить с Мандельштамами не было легким делом. Здесь не место вникать в

психологические особенности поэта вообще и О.Э.Мандельштама в частности, но для меня несомненно, что поэт типа и уровня Мандельштама не может и не должен быть обычным, "средним" человеком. Дружить с таким поэтом нелегко, приходится постоянно напрягаться, чтобы соответствовать его эмоциональному, психологическому, интеллектуальному напряжению. В случае же с Мандельштамом все осложнялось явной трагичностью его судьбы, которую не каждый, кто с ней сталкивался, мог ощутить, понять, принять. В такое страшное время постороннему и даже более близко знакомому кажется или хочется думать: ему не хуже, чем другим, чем мне, например, сейчас всем так же тяжело. Уже и в Воронеже, а особенно после Воронежа, потому что там грели надежды на возвращение в Москву, оказалось, что у Мандельштамов нет ничего: ни дома, ни работы, ни денег, ни возможности их заработать. Они нищенствовали в самом буквальном смысле слова, только что не стояли с протянутой рукой на улице. Их можно было накормить, отдать старый костюм или пальто, сунуть в карман деньги — были люди, которые это делали. По-настоящему помочь Мандельштамам было невозможно; для них выхода не было. И это многих раздражало, как и вполне понятная в их ситуации повышенная нервозность Мандельштама и его жены. Эта раздраженность открыто звучит в книге Э.Г.Герштейн "Новое о Мандельштаме", как у одного из героев этой книги С.Б.Рудакова, так и у автора. Почему-то особенно больно для меня было увидеть это в дневниковых записях Лили Поповой, хотя объяснить ее раздражение, вероятно, можно.

Вот ее запись от 17 июля 37 г. Напомню, что Мандельштамы уже в Савелове — в полной неизвестности о своей дальнейшей судьбе.

"Надо сказать, что вчера неожиданно за нами заехал Б.Ф. (Малкин. Он в какой-то мере курировал их работу о Сталине) и позвал к себе на дачу. Соблазнил живыми раками. Встречаемся мы с ним редко, но встречи бывают приятны. Сегодня утром мы вернулись в город. Шел дождь, подъехали прямо к кино, видели "Маленькую маму". Потом были в ресторане.

День это нечто, имеющее цвет, протяженность, свое лицо, характер. Я уже прожила этот день, он на склоне отмеренных ему часов — наступает вечер — и я дома, в постели, пробегая его сложную, распыляющуюся ткань, и недовольна собой. Сбой я уже давно недовольна.

Расстроили меня, обозлили два звонка М/андельштама/, даже три. Это непроходимый, капризный эгоизм. Требование у всех, буквально, безграничного внимания к себе, к своим бедам и болям.

В их воздухе всегда делается "мировая история" — не меньше — и "мировая история" — это их личная судьба, это их биография.

В основном постыдная, безотрадная, бессобытийная, замкнутая судьба двух людей, один из которых на роли премьера, а другая — вековая классическая плакальщица над ним. Его защитница от внешнего мира, а внешнее это уже нечто такое, что заслуживает оскала зубов.

Итак, в вечном конфликте (интересно, существовал ли этот конфликт до Октябрьской революции. Похоже, что нет) ¹⁶.

Попова подошла к главному вопросу — возможна ли была судьба, подобная мандельштамовской, в прежнем обществе, ответила на него отрицательно, но не смогла задать себе вопроса — почему? В поисках ответа на него она могла бы преодолеть свое раздражение. Но слишком трудно довести подобную мысль до логического конца.

2-го августа она снова записывает о поэте и его жене: "Приехали Мандельштамы. Изгадили. Ужасно опустошающие. Проводила их в пять часов. Выехали в город" ¹⁷.

Для меня Е.Е.Попова — только живой пример того оттолкновения от Мандельштамов, которое сопровождало их весь последний год жизни поэта. Известно, что жена Б.Л.Пастернака практически отказала им от дома. Слишком резким диссонансом врывалась их судьба в невероятно трудную, часто страшную, но все же упорядоченную жизнь других людей...

В начале статьи я говорила, что еще десять-пятнадцать лет назад мало кто подозревал о существовании послевороннежских стихов Осипа Мандельштама, большого цикла, который я условно назвала "савеловским". Теперь известны и опубликованы четыре из этих десяти или одиннадцати стихотворений: "Пароходик с петухами...", "На откосы Волга хлынь, Волга хлынь...", "С примесью ворона — голуби..." ¹⁸ и "Стансы". О "Черкешенке" я уже упомянула. Но со слов Н.Я.Мандельштам и Н.Е.Штемпель мы знаем и еще об одном несохранившемся

стихотворении — о смертной казни, в котором Мандельштам — и это на фоне почти ежедневных газетных полос с приговорами — принципиально отвергал смертную казнь. Шесть стихотворений — не так мало для последних стихов погибшего поэта, считавшихся утерянными безвозвратно. Нужно надеяться, что когда-нибудь обнаружатся еще “савеловские” стихи Мандельштама.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ЦГАЛИ, ф. 2240, оп. 1, ед. хр. 579
2. Там же, ф. 2440, оп. 1, ед. хр. 158, лл. 9№10
3. Там же, ф. 1334, оп. 2, ед. хр. 557
4. Образ Е.Е. Поповой прекрасно воссоздан в книге Н. Крымовой “Владимир Яхонтов”. М., “Искусство”, 1978.
5. ЦГАЛИ, ф. 2440, оп. 1, ед. хр. 61, л. 7
6. Там же, оп. 1, ед. хр. 473, л. 6
7. Там же, л. 151
8. Там же, л. 150
9. Там же, л. 51
10. Там же, л. 51
11. Там же, лл. 154-155
12. Там же, л. 156
13. Там же, л. 133
14. Там же, лл. 174-175
15. Там же, оп. 1, ед. хр. 283, л. 17; ед. хр. 288, лл. 33-34
16. Там же, ед. хр. 61, л. 166
17. Там же, л. 166
18. Первые два стихотворения опубликованы в “Дружбе народов”, 1987, №8, сс. 138, 139; третье — “Russian Literature”, Vol. V, 1977, p. 279. North-Holland Publishing Company - Amsterdam.

Борис Гройс

МЕЖДУ СТАЛИНЫМ И ДИОНИСОМ

Современное постмодерное, или постструктуралистское, теоретизирование во многом питается идеями и настроениями конца 20–30-х годов, возникшими в результате кризиса авангарда, когда вера в истинность и спасительность новых прозрений уже была утрачена, но в то же время разрыв с традицией был осознан как непреодолимый. В результате установка на классические идеалы объективности, разумности, научности и т.д. оказалась столь же под вопросом как и авангардистский упор на аутентичность, интуицию, оригинальность и новизну. Человек 20–30-х годов осознал себя как материальную часть мира, от которого он не в состоянии дистанцироваться ни путем его созерцания и исследования, ни путем замыкания в своем собственном внутреннем мире. Мир мог еще открыться ему только на пределе своего физического существования, в реальности смерти, эроса, тотальной “материальной” власти и сверхчеловеческого напряжения сил. Разумеется, современная постмодернистская мысль, обычно ассоциирующаяся с такими французскими авторами, как Деррида, Лакан или Делез, не верит также и в возможности раскрытия мира в его “пограничных ситуациях”, поскольку полагает, что в ориентации на переживание границы сказывается “метафизическая” установка на обретение “метапозиции” по отношению к миру, которая характерна и для философской классики. В этом смысле упрек

постмодернизму в воскрешении политически скомпрометировавших себя идеологий 30-х годов совершенно непропорционален — постмодерная теория как раз направлена против любых разновидностей как чисто философского, так и политического тотализма и уж тем более тоталитаризма. В то же время постмодерная теория использует аргументацию той эпохи суперреализма, как ее можно назвать, против иллюзий предыдущего периода — иллюзий, которые пережили бурную реставрацию после Второй мировой войны на волне чисто морального сочувствия к идеалам прошлого. Между тем именно эти иллюзии, поскольку они были отчасти сохранены и даже радикализованы в 30-х годах, привели, по мнению новой французской философии, к последующим катастрофам: политико-моральные интенции постмодерной теории таким образом, как можно видеть, вполне благонамеренны, и путаница возникает только из различий в диагнозе предыдущей эпохи философского развития.

Вместе с тем сначала тотальное осуждение, а затем постмодерная благонамеренная интерпретация суперреализма 30-х годов в равной мере не дают увидеть его действительные контуры. Симптомами недовольства этим положением дел можно считать нынешнюю дискуссию о политических импликациях философии Хайдеггера, новые работы о политической ангажированности французских сюрреалистов в нелегком выборе между фашизмом и коммунизмом в его сталинистском и троцкистском вариантах и т.д. В этом контексте особенный интерес представляет фигура русского теоретика культуры Михаила Бахтина — основные его работы относятся также к концу 20—30-м годам, они вполне подпадают под вышеочерченную парадигму суперреализма и сыграли заметную роль в становлении постмодерной теории, особенно во Франции и США.

Бахтин известен в первую очередь как теоретик “полифонического романа” и как теоретик “карнавала”. Обе теории сформулированы им в форме комментариев к романам: первая — к романам Достоевского, и вторая — к роману Рабле “Гаргантюа и Пантагрюэль”. Под влиянием Маркса и Фрейда, но прежде всего под влиянием Ницше Бахтин негативно реагирует на русскую авангардистскую формалистическую теорию о господстве автора над материалом художественного творчества, о “принципе сделанности” художественного произведения. Бахтин видит в авангардном акценте на автора продолжение

традиционного "монологизма", заключающегося в привилегированном положении авторского голоса в повествовании. Для Бахтина всякое слово есть лишь реплика в бесконечном диалоге всех со всеми, оно всегда изначально отчасти пассивно, отчуждено от говорящего, в нем всегда присутствует также "голос другого" — и это относится также и к автору-художнику. Но не только слово как тело мысли несамостоятельно, неавтономно, неаутентично, — также и человеческое тело само по себе есть часть единого мирового "гротескного тела": через свои границы и отверстия оно соединяется со всем материальным в мире, с мировым метаболизмом и мировым эросом, которые и выявляют себя в карнавале, уничтожающем человеческую автономию, нарушающем ее повседневный "хабеас корпус акт". "Полифонический роман", преодолевающий индивидуальное авторство, укореняется Бахтиным в карнавале, рассматривается им как литературное выражение "принципа карнавализации".

Эти бахтинские формулировки ставят по существу знак равенства между литературой и жизнью и заставляют видеть в бахтинской литературной теории по необходимости сформулированную эзоповым языком жизненную программу. Отсюда возникает вопрос о политических импликациях бахтинской мысли, которой особенно в последнее время обсуждается многими исследователями. В абсолютном большинстве случаев бахтинский "полифонизм" понимается при этом как протест против "монологизма" современной ему сталинской идеологии, а "карнавализм" — как реакция на серьезность и непрерываемость официального советского образа жизни. Бахтин становится таким образом глашатаем демократической, подлинно народной альтернативы иерархически организованному тоталитарному государству — единственным русским мыслителем советского периода, сохранившем верность утопии единой общенародной жизни. Единственным упреком Бахтину служит обычно указание на то, что карнавал, хотя и содержит определенный "революционный потенциал", все же вписывается в традиционный общественный порядок и даже в конце концов легитимирует его тем, что дает ритуализированный выход накопившемуся недовольству. Вместе с тем эту недостаточную революционность Бахтина вполне прощают ему, учитывая цензурные обстоятельства того времени, и поэтому Бахтин

в основном сохраняет свой ореол последовательно антитоталитарного мыслителя.

Между тем Бахтин, если на чем и настаивает, то именно на тотальности карнавала, весь пафос которого состоит в разрушении автономии человеческого тела и существования: карнавал общенароден (народность, кстати, — характерное понятие именно сталинской культуры, сменившее "классовость"). Либерализм и демократизм в обычном их понимании вызывают у Бахтина резкую антипатию: они являются для него синонимами автономизации, самозамыкания индивидуальности, отрыва ее от единой космической жизни и, соответственно, причинами возникновения пафоса серьезности, морализаторства и упадка юмора и карнавала. Бахтин с ликующими интонациями передает раблезианские описания ужасающих карнаваловых побоищ, "забрасывание веселой материей — калом и заливание мочой", ритуалы карнаваловых оскорблений, "развенчаний и увенчаний", образы карнаваловых торжествующей Смерти, символизирующей народную радость по поводу "гибели всего мертвого и отжившего". Он приветствует при этом именно карнаваловый пафос "окончательной смерти", победы чисто материального принципа, отрицающего все трансцендентное, идеальное, бессмертное. Короче, карнавал у Бахтина ужасен — не дай Бог попасть в него. О демократии тут не приходится и говорить: никому не дано демократического права увильнуть от карнавала, не принимать участия, остаться в стороне. Напротив, именно те, кто пытается это сделать, подвергаются в первую очередь заслуженным "веселым поношениям и избениям". Этот кошмар превращается, по Бахтину, в веселый карнавал благодаря смеху, которым он сопровождается. Но карнаваловый смех есть отнюдь не ирония писателя над трагедией жизни — нет, это радостный смех народа и космоса над мучительными корчами индивидуума, представляющимся ему смешным в своей беспомощности. Это смех, рожденный верой в то, что народ есть нечто материально большее, чем собрание индивидуумов, мир — большее, нежели все вещи в нем, и т.д., т.е. именно верой в тоталитаризм.

Бахтинские описания карнавала безусловно рождены опытом Революции и гражданской войны. Однако, возможно, в еще большей степени они воспроизводят атмосферу сталинского террора 30-х годов, по воспоминаниям многих современни-

ков, носившего — с его неправдоподобными восхвалениями и поношениями, с его “веселыми увенчаниями-развенчаниями” жертв — ярко выраженные карнавальные черты. О специфической веселости 30-х годов сохранилось множество свидетельств: между прочим, показательные процессы того времени часто сопровождалось смехом публики и тема карнавала присутствует в сталинской культуре не только у Бахтина. Не зря и сам Сталин сказал тогда: “Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее”. На сталинский контекст указывает также то обстоятельство, что и полифонический роман, и карнавальное действие, имея народное происхождение, все же де факто разыгрываются у Бахтина конкретным автором, стоящим “за сценой”, — Достоевским или Рабле, что косвенно указывает и на автора “жизненного текста”, которым мог быть только Сталин.

Все эти соображения наводят на мысль, что целью Бахтина была отнюдь не критика Революции и сталинского террора, а их теоретическое оправдание в качестве извечного ритуального карнавального действия. Не карнавал здесь выступает как фрустрированная Революция, не смогла реализовать свой полный потенциал, а, напротив, карнавал оправдывает абсурд и жестокость Революции во внеисторическом пространстве релятивирующего чистого смеха. Современные интерпретаторы Бахтина мыслят чаще всего предреволюционно, но сам Бахтин был постреволюционным мыслителем. Революция для него менее всего могла быть ценностью сама по себе.

Означает ли сказанное, что Бахтин был своего рода криптосталинистом? И если да, то какой в этом смысл, когда значительно легче тогда было быть просто сталинистом? Разумеется, сталинистом Бахтин не был. Но в еще меньшей степени был он анти-сталинистом. По своему происхождению, кругу знакомств и культуре Бахтин принадлежал к жертвам Революции и сталинизма, но именно это обстоятельство делало для него психологически невозможным морализаторское осуждение происходящего: он был слишком учеником Ницше, чтобы позволить заговорить в себе низменному протесту, порожденному личным рессантиментом. Трагедия Революции была понята Бахтиным как часть единой космической трагедии жизни, которая может и должна получить “эстетическое оправдание”, — и в этой своей интенции Бахтин был отнюдь не одинок, поскольку эстетическое оправдание эпохи было одной из основных тем

тогдашней русской культуры в целом. Сталинская Россия была по существу истолкована Бахтиным в ницшеанских терминах аполлоновского и дионисийского начал. Карнавал и есть у Бахтина синоним дионисийского: жертва аполлоновского сталинского террора переживает его как ритуальное саморастерзание, как добровольный карнавальный акт и тем самым преодолевает этот террор, изнутри меняя его смысл. Характерно вместе с тем, что это преодоление у Бахтина лишено того экстаза выхода в универсальное, или растворения в безличном, которое составляет основной пафос дионисийского у Ницше. Для Бахтина индивидуальность радикально ограничена и конечна. В карнавале эта конечность становится для нее окончательно очевидна. Третьим смеющимся оказывается народ или космос — личность не имеет никаких шансов, кроме как осознать свою гибель в качестве позитивной ценности.

Пример Бахтина показывает, что тоталитаристский стиль мышления 30-х годов не редуцируется только к мечтам о сверхчеловеческом могуществе. Его по-своему и значительно более радикально представляют и те, кто не разделял аполлоновских иллюзий о власти над миром, но был готов на дионисийскую жертву, вовлекающую в себя весь мир. Этот "другой" тоталитаризм не поддается обычной критике идеологии, ориентированной на комбинацию "идеализма" с волей к власти, ибо представляет собой комбинацию материализма с отказом от власти и даже от самосохранения. Критика такой альтернативной стратегии тотализации требует поставить под вопрос единство материального, "реального" мира, которое продолжает утверждаться в различных своих вариантах, включая и экологический, и в наше постмодерное время.

Владислав Кулаков

ОБЭРИУ, МОДЕРНИСТСКИЙ ГРОТЕСК И СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

Л. Гинзбург в своих воспоминаниях об Н. Олейникове выделяет следующий эпизод: "В последнюю встречу я сказала Олейникову: "Я люблю ваши стихи больше стихов Заболоцкого. Вы расшиблись в лепешку ради того, чтобы зазвучало какое-то слово... А он не расшибся". Он сказал: "Я для того только и пишу, чтобы оно зазвучало". "Здесь, конечно, дело не в том, что стихи Олейникова "лучше" стихов Заболоцкого. Нет, важно другое: в чем-то поэзия Олейникова оказывается более завершенной, чем поэзия Заболоцкого, какая-то общая для них тенденция выражена Олейниковым полнее. И эта тенденция названа: "...расшиблись в лепешку ради того, чтобы зазвучало какое-то слово..."

Конечно, вся поэзия стоит на том, чтобы "звучали слова". И известно, что слова в поэзии неизбежно устаревают от частого употребления, перестают "звучать". И работа каждого поэта в конечном счете сводится к тому, чтобы найти подходящие слова, и эти слова обязательно должны "звучать", то есть восприниматься в чем-то по-новому. Этот непрерывный процесс обновления поэтического слова — суть эволюции поэзии, необходимое условие ее существования, подлинно творческого наследования поэтической традиции. Но степень, глубина обновления может быть разной в разные эпохи и у разных поэтов. Великие поэты совершают целые перевороты в поэтическом языке, находят принципиально новые пути создания "звучаще-

го слова”, открывают новые ветви развития традиции. Обэриуты тоже совершили такой переворот, но сначала это мало кто понял. И именно потому, что им пришлось “в лепешку разбиться ради того, чтобы зазвучало слово”, то есть отказаться абсолютно от всего внешнего и привычного определяющего лирику, от всего, казавшегося совершенно незыблемым, веками неразрывно связанным с лирической поэзией. В известном смысле они вообще отказались от лирики, и как раз в поэзии Н.Олейникова эта тенденция доведена до предела. Действительно, какая уж тут лирика, просто юмористические стихи, причем домашнего употребления:

Я влюблен в Генриетту Давыдовну,
А она в меня, кажется, нет,
Ею Шварцу квитанция выдана,
Мне квитанции, кажется, нет...

Но за всем этим стоит нечто гораздо более серьезное.

Поэзия обэриутов вышла из поэзии Хлебникова. Поэтика случайного, детский, сознательно наивный взгляд на мир, поэтический примитивизм — все это чисто хлебниковское наследие, целиком усвоенное обэриутами. Но обэриуты пошли дальше Хлебникова. Новое поэтическое зрение Хлебникова, зрение “ребенка и дикаря” (Ю.Тынянов), до предела искажало изображение, но в то же время создавало по-новому ощущаемое единство мира и человека через языческую включенность человека в очеловеченную мифом природу, космос. Хлебников прорывается к первоизданности сквозь все культурные напластования, а вернее, включает всю культуру, растворяет ее в равной ей по разумности живой природе (“умный колос ржи”), как бы действительно возвращая к языческой невычленяемости человека из природы, и значит — к гармонии. Поэтому несмотря на всю необычность, на предельную гротескность поэзии Хлебникова, ни у кого не возникало сомнения в том, что это — лирическая поэзия.

Обэриуты же, полностью перенимая инфантильно-варварскую гротескность Хлебникова, отказываются от прямой лирической направленности нового видения. Им уже чужда стихийная гармония хлебниковского “язычества”, и инфантильность их поэтического мира уже не “дикарская” (то есть подчи-

ненная своей, хоть “дикарской”, но человеческой логике), а настоящему дикая, абсурдная, никакой логике не подчиняющаяся. И происходит это именно благодаря тому, что обэриуты действительно отказались от прямого лирического высказывания, уже даже не “ребенок и дикарь были новым поэтическим лицом”, а нечто совсем другое.

Б.Сарнов в своей интереснейшей статье о Заболоцком “Восставший из пепла” (в кн. “Бремя таланта”, М., СП, 1987) остроумно и очень точно называет капитана Лебядкина “новым поэтическим лицом” обэриутов. (Это сравнение возникло, конечно, не на голом месте: Б.Сарнов прослеживает целую историческую традицию “плохой” литературы и ее критического осмысления). Феномен Лебядкина — это “лирические стихи, вылившиеся из души человека, заведомо неспособного на лирическое отношение к миру” (Б.Сарнов). То есть именно отказ лирика от лирики, эстетический парадокс — вот отправная точка обэриутской эстетики, вот точка соприкосновения с “плохой” литературой, с Лебядкиным. Причем именно мироощущение Лебядкина проступает в обэриутской поэзии, а не его стиль — ведь поэтический примитивизм в не меньшей степени присущ Хлебникову, но никому и в голову не пришло сравнивать его с Лебядкиным. Но в чем же смысл этого эстетического “выверта”, многим показавшимся на первый взгляд не то шуткой, не то хулиганской выходкой?

Б.Сарнов глубоко исследует социальные и духовные корни столь тесного родства некоторых явлений нашей литературы 20-х годов с феноменом Лебядкина. Конечно, есть связь между небывалой демократизацией новой литературы, практически, как с неудовольствием пишет А.Кушнер, “отказавшейся от героя-интеллигента, высмеявшей его” (“ЛГ”, №35, 1988), и колоссальными социальными катаклизмами, действительно вынесшими на авансцену истории “новых людей”, “не в парниках приготовленных”. Демократизация искусства — вообще вещь неизбежная в обществе XX века, в обществе технической революции и средств массовой информации; но на нашей почве этот перепад был особенно головокружительным: от Левина — до героев Зощенко (прямо дух захватывает!). Все это очень существенно, но не дает еще понимания внутренних законов новой эстетики. Понять их можно только обратившись к онтологической стороне явления.

Искусство нового времени, вообще говоря, глубоко кризисное искусство. Окончательно расставаясь со всеми сопутствующими его эволюции духовными (в том числе и эстетическими) абсолютами, будь то антично-языческие или средневеково-христианские абсолюты, полностью раскрепощая свою личность, превращая ее в новый абсолютизм (а это неизбежно для исторически качественно нового сознания), человек нового времени, обретая безграничную духовную свободу, одновременно теряет какую бы то ни было духовную опору вне своего сознания, теряет бога, а значит, смысл своего существования. Оказавшись на краю духовной гибели, он страстно ищет своего оправдания, пытается создать себе новую гармонию, и далеко не всегда достигает желаемого. Так или иначе пустота, возникшая на месте бога, должна быть заполнена, иначе невозможна никакая гармония, а значит — и искусство. И Б. Сарнов, развивая мысли Зоценко, очень точно показывает, как достигалась гармония всем предшествовавшим — великим! — искусством — от Пушкина до Блока: "По глубокому убеждению Блока художник должен твердо верить, что бессмыслица и хаос — это лишь видимость, лишь "случайные черты" бытия, которые необходимо стереть, от которых надо отрешиться. Так чуть ли не от сотворения мира думали и чувствовали все поэты. Они верили, что мир — не двухмерен, что существует пусть не видимое простым глазом, но безусловно реальное *третье измерение бытия*".

И Сарнов совершенно правильно делает вывод о том, что суть онтологического эксперимента обэриутов и состоит в том, что они сознательно отказались от этого невидимого измерения бытия, попытались войти в искусство с совершенно иным мироощущением.

"Мироощущение это в самой своей основе губительно для поэзии. И не случайно, придя к такому мироощущению, поэт переживает глубочайший кризис, из которого, похоже, нету выхода". Но что такое те кризисы, о которых пишет Сарнов? Есенин в "Москве кабацкой" и Мандельштам в "Я скажу тебе с последней прямокой..."? Нет, эти "кризисы", пусть даже самые мрачные и небывалые, вроде "твердь кишит червями" — нормальное для искусства нового времени балансирование над пропастью, с большей или меньшей степенью сгущающее или разрывающее трагедийные тона, но никак не лишенное еще "не-

видимого измерения бытия". А вот когда его действительно выкидывают как ненужное, нечестное, контрабандой в человеческое сознание принесенное, когда пытаются взглянуть на мир и человека "голыми глазами", останется ли искусство?

Б. Сарнов на примере Заболоцкого показал, как на ровном месте такого губительного для искусства мироощущения, очистившегося от всех традиционных эстетических иррациональностей, можно построить новую гармонию. Но путь Заболоцкого — совершенно особый путь, последовательно направленный на преодоление хаоса, который у Заболоцкого лишь исходная данность. Нас сейчас интересует другое: что же получится, если не бороться с хаосом, если принять за постулат нечто, противоположное блоковскому "сотри случайные черты"? Казалось бы, искусство должно погибнуть. Но ничего подобного не произошло. Возникло новое, чрезвычайно непривычное, неудобное для восприятия, но — искусство.

Весь парадокс этого искусства теперь понятен — оно начало с того, что удалило основной эстетический нерв, то есть с самого начала определило себя как нечто, искусству противоположное. Все, что было незыблемым, устоявшимся, сместилось, поплыло, весь каркас искусства оказался вывернутым наизнанку. Вечные эстетические категории прекрасного и безобразного поменялись местами, логика заменилась абсурдом, поэзия превратилась в антипоэзию. Возник цельный антимир, он был совершенно абсурден, но постепенно стало выясняться, что каким-то таинственным образом в сверхкривом зеркале новой антипоэзии, в рожденном ею антимире вдруг ясно стали проступать совсем не "случайные черты" реального мира и человека. Как это могло быть?

Главным эстетическим оружием нового искусства стал смех. Но этот смех отнюдь не был чисто сатирическим или чисто развлекательным, единственно допускаемым, по словам Бахтина, "буржуазным XIX веком". "Чистый сатирик, знающий только отрицательный смех, ставит себя вне осмеиваемого явления, противопоставляет себя ему, — этим разрушается целостность смехового аспекта мира, смешное (отрицательное) становится частным явлением" (М.М. Бахтин "Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса"). Смех Обзериутов, Зоценко, Платонова был совсем другим смехом, и поэтому такое неудовлетворение оставляют попытки

критиков (даже, как правильно заметил Сарнов, самых доброжелательных) свести этот смех к чистой сатире. Сатира, конечно, тоже есть, но не она главное, и в стремлении все объяснить сатирой проявляется все та же упрощающая инерция "буржуазного XIX века".

Смех обэриутов (Зощенко, Платонова) не был "только отрицательным смехом", он "не ставил себя вне осмеиваемого явления", не "противопоставлял себя ему", нет, он выступал как неотъемлемая составная часть цельного художественного мира, нес в себе глубокий онтологический смысл. Это был метафизический, философский смех, смех, просвечивающий самые темные уголки мироздания, затрагивающий самые болезненные и недоступные для человека тайны бытия. Литературный источник такого смеха восходит не к сатире XIX века, а к гротеску, история развития которого фундаментально исследована М. Бахтиным.

Обэриутский смех — это гротеск XX века, а именно "в XX веке — по словам Бахтина — происходит новое и мощное возрождение гротеска". "Картина развития новейшего гротеска довольно сложна и противоречива. Но, в общем, можно выделить две линии этого развития. Первая линия — *модернистский* гротеск (Альфред Жарри, сюрреалисты, экспрессионисты и др.) Этот гротеск связан (в разной степени) с традициями романтического гротеска, в настоящее время он развивается под влиянием различных течений экзистенциализма. Вторая линия — *реалистический* гротеск (Томас Манн, Бертольд Брехт, Пабло Неруда и др.), он связан с традициями гротескного реализма и народной культуры, а иногда отражает и непосредственное влияние карнавальных форм (Пабло Неруда)" (М.М.Бахтин). Видно, какое колоссальное значение гротеск приобретает в искусстве XX века. Все (или почти все) самые яркие художественные явления нашего века в той или иной мере включали в себя гротеск.

Обэриутский гротеск — безусловно модернистский гротеск, абстрактный, символический, никогда не допускающий прямого пересечения, прямого соответствия между миром гротескным и миром реальным, как это допускается в реалистическом гротеске, например, у Зощенко. Модернистский гротеск уже научился обходиться без "примирения с миром", хотя нельзя сказать, что даже наиболее гротескные эстетические

системы XX века (сюрреализм, экспрессионизм) не опирались в конечном счете на прежние эстетические идеалы, на все то же "невидимое измерение". Но обзриутство стоит в ряду таких эстетически крайних явлений, в которых исключительно гротеск целиком и полностью конституирует художественный мир. Никаких внешних позитивных подпорок действительно не остается. Но художественный мир не рассыпается. Почему?

Цементирующим веществом такого художественного мира является, конечно, смех. Мы уже выяснили природу этого смеха, теперь попытаемся понять, как же ему все-таки удастся создать цельность художественного мира. Разрушая, отказываясь от традиционных эстетических основ искусства — от лирики, от красоты, — обзриуты не оставляют ничего эстетически значимого, кроме смеха. Но оказывается, что всепроникающий, тотальный смех и не нуждается в никаких дополнительных эстетических подпорках. "Внешне, в своем первом поверхностном слое, смех нарочито искажает мир, экспериментирует над миром, лишает мир разумных объяснений, причинно-следственных связей и т.п. Но, разрушая, смех одновременно создает — творит свой фантастический антимир, который несет в себе определенное мировоззрение, отношение к окружающей действительности" (Д.С.Лихачев, в кн.: "Смех в древней Руси", Л., "Наука", 1984). Это сказано Лихачевым о древних смеховых традициях, но в том-то и особенность обзриутской эстетики, что, возникнув в XX веке на крайнем крыле авангарда, она неожиданно сблизилась с народной традиционной смеховой эстетикой. Конечно, это сближение ни в коем случае нельзя понимать слишком буквально, источник обзриутства — все-таки современный модернистский гротеск, вышедший из романтического (а мы помним, как резко, по определению Бахтина, романтический гротеск отличается от подлинно народного, с архаическими чертами языческой культуры*) , но принципы создания "смехового мира" в целом действительно совпадают.

И механизмы эстетического функционирования обзриутского антимира примерно те же: "Мир смеха" одновременно за-

* А.Герасимова в своем исследовании ("Обзриу. Проблема смешного", "Вопросы литературы", №4, 1988), отмечая внешнюю похожесть, формальную близость обзриутов карнавалному смеху на примере А.Введенского, совершенно справедливо заключает, что "и применительно к Введенскому вывод о карнавальном смехе ложен, ибо в этом писателе и его смехе слишком много *личного*". Слишком "личное", искус-

кончен и не закончен... Дело в том, что тот антимир, который создает смех в отдельные эпохи и у отдельных народов, все же является только антимиром и зависит от мира настоящего, от его понимания и его интерпретации... Отношение к истине в смехе тоже двойственно. В той своей части, где смех создает свой смеховой мир, где он стремится к законченности, — он внешне не стремится к истине. Напротив, смех разрушает мир, нарочито его искажает. Но при исследовании смеха как части культуры и его связей с мировоззрением обнаруживается, что в скрытом и глубинном плане смех активно заботится об истине, не разрушает мир, а экспериментирует над миром и тем деятельно его "исследует" (Д.С. Лихачев). Именно исследование мира и человека "голыми глазами", без всяких облегчающих поиск начальных данных (ничто не принимается априори, на веру), попытка сказать о мире и о себе "с последней прямой" — вот суть обэриутского эксперимента.

О результатах этого эксперимента можно говорить много, но это уже отдельная задача конкретного анализа собственно творчества обэриутов. Скажем только, что обэриутовский "антимир", мир фантастики и абсурда действительно "активно заботится об истине", и немало таких очень существенных для сознания человека XX века истин делает очевидными. Эти истины могут быть и горькими, и трагическими (и в этом тоже дыхание эпохи): "обэриутовская заумь... может выступать иероглифом, знаком эзотерического молчания, сигнализирующим о беспомощности "человеческого, слишком человеческого" существа перед лицом глубоких онтологических проблем" (А. Герасимова), — обэриутство все это беспощадно высвечивает. Но беспощадность эта, очищающая своей честностью, глубоко гуманистична, как гуманистично всякое подлинное искусство. И главным результатом обэриутского эксперимента стало настоящее высокое искусство, в котором, пусть и не явно, не в первом поверхностном слое, но все равно "невидимое измерение бытия", возникает, не нарушая чистоту эксперимента, потому что не может не возникнуть там, где появляется человеческая

ство нового времени исключает возможность возвращения к "карнавалу", к фольклорному мироощущению. Но вместе с тем обэриутская эстетика не просто по чистой случайности напоминает "смеховой мир" предков. Здесь не случайное совпадение, а использование одних и тех же эстетических принципов, более универсальных, чем фольклорная карнавальность или рефлексивная лиричность нового искусства.

духовность, потому что это измерение и есть духовность. И ради этого стоило “расшибиться в лепешку”.

Конечно, все выше сказанное отнюдь не обязательно для всех обэриутов в отдельности — каждый из них был слишком крупным поэтом, чтобы полностью уложиться даже в самую общую схему. Но нам важно было определить основную суть обэриутства, их исходную точку для того, чтобы правильно понять все последующее развитие обэриутской традиции в советской литературе. А традиция такая есть, хоть она не прорывалась долгое время на поверхность нашей литературы (естественно, не по своей вине).

Времена первой оттепели, вернувшие к жизни “левое” искусство 20-х годов, сформировали и новое поколение постобэриутской поэзии. Литературе этой не суждено было “легализоваться”, в отличие, скажем, от восходящей тоже к “левому” искусству 20-х годов эстрадной поэзии, но подпольный авангард (образовавшийся не только в литературе, но и в живописи) оказывал с тех пор сильнейшее влияние и на формирование противостоящего парадному официозу негласного общественного мнения, и вообще — на духовную жизнь общества. История авангарда — драматическая, вобравшая в себя трудные судьбы многих талантов, история безнадежного противостояния честного искусства бездушной и всесокрушающей бюрократической машине — еще не написана*. Но и сейчас, когда эта история только начинает писаться, ясно, что постобэриутская левая поэзия — очень значительное явление современной советской литературы.

Представители первого постобэриутского литературного поколения не были поколением в обычном смысле этого слова**. Это были люди разных возрастов — от прошедшего всю

* Правильнее, конечно, говорить не об истории авангарда, а вообще о нормальной истории культуры, настоящей культуры, в которой и авангард, и не авангард, и печатающиеся авторы, и не печатающиеся — все противостояли апофеозу бюрократии, все по-своему работали на общий духовный потенциал. Частью этой общей истории будет и авангард, но он, пожалуй, все-таки будет выделяться количеством репрессий, доставшихся на его долю.

** Первое постобэриутское поэтическое поколение наверняка не исчерпывается теми именами, о которых пойдет речь. Здесь говорится о московских поэтах, но вполне возможно, что и в других городах в те времена возникало нечто подобное.

войну Я. Сатуновского (1915 года рождения) до типичного по возрасту "шестидесятника" Всеволода Некрасова (1934 года рождения). Но объединяла их не только невозможность пробыться вслед за "эстрадниками" на страницы печати и даже не только близость эстетических принципов, объединила их сама жизнь, образовав на рубеже 50-х — 60-х годов интереснейший творческий союз поэтов и таких же официально отвергнутых живописцев. Художников позднее в разносных газетных статьях называли лианозовской группой (по тогдашнему месту жительства О. Рабина, у которого проводились квартирные выставки), поэты даже под разнос в прессу не попали. Тем не менее, лианозовская группа — не только художники, но и поэты.

Противостояние казенщине, стремление к свободному самовыражению, честное и подчас нелицеприятное отражение жизни — в основе творчества "лианозовцев", как поэтов, так и художников. Эпоха бытовой неустроенности, полунищенской жизни в бараках и коммуналках создала свою "барачную" живопись и свою "барачную" поэзию. Метафизический интерес обэриутов к "изнанке жизни" дополняется теперь и чисто социальным протестом против жизни человека в нечеловеческих условиях:

Заборы. Помойки. Афиши. Реклама.
Сараи — могилы различного хлама.
Синеет небес голубых глубина.
Квартиры. В квартирах уют, тишина.
Зеркальные шкапы. Комоды. Диваны.
В обоях клопы. На столах тараканы.
Висят абажуры. Сверкают плафоны.
Лежат на постелях ленивые жены.
Мужчины на службе. На кухнях старухи.
И вертятся всюду назойливо мухи.

В этом стихотворении самого "барачного" из лианозовских поэтов И. Холина явно чувствуются отзвуки горьких сарказмов Саши Черного, его "Обстановочки". "Сатириконовская" поэзия (Саши Черного, П. Потемкина) и поэзия обэриутов, никогда прямой сатиры не допуская, вообще говоря, совсем разные вещи. Но в творчестве лианозовцев эти разные линии иронической поэзии порой оказывались очень близкими, и

именно благодаря активной социальной позиции новых поэтов (обэриуты как истинные представители "чистого искусства" всегда оставались социально нейтральными). Из-под пера лианозовцев иной раз выходили такие "сатиры", что чиновниками от литературы они сразу классифицировались как "антисоветские". Но "сатиры" эти все-таки были не "сатириконовские", "знающие только отрицающий смех", в основе этих "сатир" был все тот же обэриутский принцип.

И. Холин, например, так характеризует свое лирическое "я":

Вино "Рейнвейн", вино "Кагор",
Закуска — винегрет.
Напьюсь и лягу под забор,
Вот я каков — поэт.

Здесь, конечно, уже ничего общего с Сашей Черным, саркастичным, но и страдающим, не скрывающим своего страдания. Это, скорее, непроницаемая маска Н. Олейникова, а вот непроницаемость для лирики, для открытого выражения эмоций — это уже чистое обэриутство, это эмоциональная непроницаемость смехового антимира, мира абсурда. И именно такой мир создает поэзия И. Холина, мир, индифферентный к человеческой логике, к человеческой этике:

Это дело было в мае.
Во втором бараке Рая
Удавилась в сарае.
Почему? Никто не знает.
Да, на свете все бывает.

Типично обэриутский "черный юмор", хотя к метафизическому пересмешничеству обэриутов здесь добавляется и своеобразный социальный мотив (ведь за этим встает реальная картина, а вместе с ней и горечь, и социальное негодование), но сам принцип "пересмешничества" сохраняется.

Метафизическое скоморошество, выворачивание наизнанку экзистенциальной проблематики, ироническое философствование в высшей степени характерны и для другого "лианозовца" — Г. Сапгира, именно этому чисто обэриутскому жанру уделяющего основное внимание. Но и у Сапгира можно найти

“барачные” мотивы, социальность, придающую его поэзии характерную “лианозовскую” окраску. В целом же поэзия Г. Сапгира и И. Холина остается по-обзирютски непроницаемой для лирики, для прямого высказывания. А вот о поэзии Я. Сатуновского, М. Соковнина и Вс. Некрасова этого уже не скажешь.

“Детская призма, инфантилизм” снова, как у Хлебникова, выступает на первый план, но уже освобождается от хлебниковского мощного и хаотичного “варварства”, от его язычества, приобретая сдержанность и целомудрие чистой наивности, лирическое ощущение ее беспомощности и беззащитности:

Мне нравится эта высоколобая холодноглазая дама.

Мне нравится задумчивый овал ее лица.

Ее потухшие волосы, как листья Левитана

(хотя, разумеется, возраст по ним установить нельзя).

Оказывается, живет еще в душе нелепое чувство.

Мне стыдно сознаться: мне хочется позвать ее, остановить, упасть перед ней на коленку, и левой перчатки коснуться, и чтобы в ушах — соловьи, соловьи, соловьи...

(Я. Сатуновский)

Я. Сатуновский по возрасту принадлежит военному поколению, и в его поэзии есть черты, сближающие его с поэзией этого поколения. Особенно напрашивается сопоставление с Б. Слуцким — с его прозаичностью, разговорностью, антидидактичностью. Но не менее важна и другая составляющая поэзии Я. Сатуновского, составляющая, уже не укладывающаяся в целом в реалистическую поэтику военных поэтов, составляющая, помешавшая Я. Сатуновскому войти в литературу вместе со своими сверстниками и приведшая его в лоно отвергнутых лианозовцев. Это, конечно, унаследованная от обзирютов общая принципиальная антилиричность, проявляющаяся не только в сниженности поэтического языка, разговорности синтаксиса, лексики, но и в общем художественном пафосе.

Лирика строится на предельно бытовом материале, и это провозглашается Сатуновским как принцип:

Мне говорят:
какая бедность словаря!

Да, бедность, бедность;
низость, гнилость барачков;
серость,
сырость смертная;
и вечный страх: а ну ка...
да, бедность, так.

Использование разговорного языка Я. Сатуновским качественно иное, чем у Б. Слуцкого (количественно, впрочем, тоже). Здесь возникает новая лирика, рождаемая самой нелиричной, самой "низкой" жизнью:

Бабка подымается бодрая, с давлением,
с рвением
берется за домашние дела,
а намедни
важно поддала.
Вот и дед закашлялся с добрым утром.
Закури-ка, старче,
сигарету с фильтром.

Лирический порыв, симпатии Сатуновского на стороне этих деда и бабки, на стороне "низкой" материальной жизни, ее бытовой конкретики, ее принципиальной антилиричности.

Лианозовцы ближе к реальности, чем обэриуты. Их поэзия облечена в гиперреалистическую материальную оболочку, и то, что у обэриутов — абстракция, символ (тот же мещанский быт у Хармса), у лианозовцев приобретает самостоятельное значение. Жизнь интересует лианозовцев именно с материальной, плотской, "низкой" стороны, потому принципиальная антилиричность сохраняется. Но жизненная конкретика, по-обэриутски увиденная "голыми глазами", может оказаться и источником положительных лирических эмоций. Лирическое "я" по-прежнему отсутствует, вернее, оно по-прежнему растворено в смеховом, игровом мире, но, в отличие от обэриутов, лианозовцы делают упор не на метафизический абсурд, а на игру, игровой, предельно материализованный, сверхконкретный предметный мир. Можно сказать, что обэриуты и лианозовцы — это два полюса смехового мира: сверхабстракционизм обэриутов и гиперреализм лианозовцев.

Гиперреализм доведен до предела у М. Соковнина. Он

просто перечисляет окружающие его реалии, не проявляя при этом никаких видимых эмоций. Его тексты (они, кстати, так и называются — “предметниками”) составлены из сплошного перечисления бытовых предметов, звуков, запахов, обыденных действий. Взгляд рассеянно скользит по окружающему, регистрирует все мелочи, все подробности. Идет сплошной поток назывных предложений, причем слова сталкиваются, непрерывно аллитерируют, превращаются друг в друга, фотографически точно прописывая, как в фотореализме, все детали. В своих фотореалистических картинках, передающих сам дух тихого шевеления провинциальной жизни, М.Соковнин тоже широко использует разговорную речь, вернее, ее осколки, обрывки фраз, которые ко всем бытовым звукам и запахам добавляет невнятный фон бытовых разговоров.

Вообще разговорная интонация, разговорная речь с ее характерными эллипсами, тавтологиями, обилием незначащих частиц, междометий играет особую роль. Во-первых, она ведет стих к верлибру, во-вторых, открывает широкий простор для использования словесной игры, сталкивания различных языковых пластов, организации новых смыслов, высвобождения новых неведомых ресурсов языка. По этому пути дальше всех из лианозовцев прошел Вс.Некрасов, которому удастся, расчленив разговорную речь буквально до основания, построить из этих элементарных кирпичиков очень лирическое произведение:

ветки все
ветки все
в темноте
все в весне
и вообще
давайте будемте
давайте
будем
все,

как в сказке
к Пасхе
во Пскове
ближе к Пасхе

в том же Пскове
и Ростове

Ростове и вовсе

Здесь очень важна интонация, причем именно разговорная интонация, позволяющая воспринимать поток эллипсов как связное синтаксическое целое (как в разговоре, когда собеседники понимают друг друга с полуслова).

Специфика такой лирики (постобэриутская специфика) в том, что здесь тоже нет прямого лирического высказывания; лирическое ощущение возникает в результате игры, иронического сталкивания разных точек зрения на мир (высоких и низких), возникает, по сути, в том же обэриутском смеховом (и игровом — все как бы "понарошку", "для смеха", для игры) мире. Только теперь этот мир не противопоставляет себя миру реальному своим метафизическим смехом, не вскрывает своей чистой наивностью его абсурдность, а, наоборот, наивность, инфантильность, игра открывают красоту мира, находят лирику в любом жизненном эпизоде, в любой мелочи:

Весной, весной,
Смешной, смешной,
Чудной, чудной,
Ночной, ночной,
Самый трамвай,
Самый-самый —

— Постой, постой:
Пустой?
— Пустой.
Мой?
Да, мой.

— Давай домой!
Давай-давай-давай...

Здесь уже стирается характерное для обэриутов резкое различие между детской и взрослой поэзией, здесь детское мировидение, игра непосредственно совпадает с лирическим ощущением мира.

Творчество "лианозовских" поэтов во многом определило все последующее развитие авангардной поэзии, близкой обэриутским антилирическим установкам (так же, как творчество "лианозовских" художников легло в основу авангардной

нонконформистской живописи 60–70-х годов). Сейчас пока невозможно проследить все значительные явления в этой области (ввиду элементарного отсутствия информации), но ясно, что поэзия “семидесятников” Д. Пригова и Л. Рубинштейна — одно из таких явлений. Недавний выход этих поэтов на страницы печати (правда, пока лишь в качестве героев критических разборов М. Эпштейна — публикаций у самих поэтов, кроме нескольких стихотворений Д. Пригова, напечатанных “Юностью” и в коллективном сборнике, по-прежнему нет) позволяет надеяться на то, что к их поэзии и вообще к постобэриутству наконец-то проявится должное внимание.

М. Эпштейн, совершенно справедливо возводя генеалогию концептуалистов (примем эпштейновскую терминологию, не в ней суть) к поэзии обэриутов, прозе М. Зощенко, считает, что “вместе с тем нужно видеть сдвиг, произведенный концептуалистами в стилевой системе по сравнению с их предшественниками. У Зощенко или Олейникова массовое сознание персонализуется в каком-то конкретном социальном слое (мещанском, нэпманском и т.д.) и в образе конкретного героя, говорящего обычно от первого лица. Концептуализм чужд такой локализации — социальной или психологической, вычленимые им структуры и стереотипы принадлежат не конкретному сознанию, а сознанию вообще, авторскому в той же степени, что и персональному. Поэтому концептуальные произведения никак нельзя занести в разряд юмористических или иронических, где автор устанавливает некую дистанцию между собой (или, что то же самое, областью идеала) — и осмеиваемой действительностью”. (В кн. “Взгляд”, М., II, 1988.)

Если все вышесказанное отчасти верно в плане сравнения с Зощенко (и понятно почему: гротеск Зощенко все-таки реалистический), то в отношении Олейникова и вообще обэриутов это совершенно неверно. Тот “сдвиг в стилевой системе”, который в общем-то достаточно точно описывает М. Эпштейн, на самом деле произведен именно обэриутами, а уж никак не концептуалистами, которые в этом аспекте выступают как наследники, продолжатели (творческие, оригинальные), но ни в коем случае не первооткрыватели! М. Эпштейн явно недооценивает обэриутов и к тому же попросту игнорирует непосредственных предшественников концептуалистов — тех же “лианозовцев”, и Вс. Некрасов попадает у него в одну компанию с

Приговым и Рубинштейном, как будто бы и не было целой эпохи первой "оттепели" и целого литературного поколения! Анализ М.Эпштейна, конечно, содержит множество ценных частных наблюдений, но в целом его теория концептуализма все-таки неисторична, а значит поверхностна.

Концептуализм 70-х вышел в сущности из работы Вс. Некрасова над расчленением и поэтическим синтезированием разговорной речи. Но если у Вс. Некрасова и вообще у "лианозовцев" за словом еще стоит реальность (и даже порой лирически ощущаемая реальность, как у Вс. Некрасова и Я. Сатуновского), то концептуализм уже не работает с живым словом, он "обнажает скелетные конструкции нашего повседневного языка" (М.Эпштейн) и показывает, что за этими скелетами-словами, которыми мы пользуемся для создания смысла, подлинного смысла давным-давно уже нет. Концептуалисты снова отошли от реальности, к которой частично вернулись по сравнению с обзериутами "лианозовцы", и естественно от присущих "лианозовцам" "сатириконовских" тенденций в поэтике. Разумеется, ничего у них не остается и от лианозовской лиричности. Концептуализм — это чистый антимир, абсурд, но абсурд, формируемый не хлебниковско-обзериутской "поэтикой случайного и невозможного" (А. Герасимова), а лианозовской поэтикой расчленения языка, доведенной до предела.

С высоты полета обзериутов стилевая дифференциация языка практически не ощущалась, здесь же она приобретает решающее значение. В целом это продолжение лианозовской линии — игра различными языковыми пластами, но эта игра дает у концептуалистов прямо противоположные результаты: не новый живой смысл (слова — мертвые), а новую безнадежно воспроизводящуюся бессмыслицу:

Мне снился сон: как будто тронут
Какой-то силой неземной
Я распадался сам собою —
То тихой бомбою нейтронной
Нас мериканец мучил злой
И сколько было нас советских
Людей, животных — вслед за мной
Все перешли в состав земной
С иным в различие и сходство

И я подумал на лету:
За что такое превосходство
Американцу одному?
А нам другое

Видно, какую роль у Пригова играет разного рода словесный хлам и в первую очередь — идеологические штампы. В этом, конечно, есть сильный сатирический заряд, но сатира эта чисто обзариутская — пересмешническая. Просто к обзариутскому метафизическому пересмешничеству у Пригова добавляется пересмешничество политическое, но ничуть не выпячивается: политизированность проявляется в языке наравне со всеми остальными осколками информационного взрыва, заполняющими сознание современного капитана Лебядкина.

Концептуализм — явление очень интересное, именами Пригова и Рубинштейна, по-видимому, не исчерпывающееся. Интересно проследить постобзариутские тенденции также в последней поэтической волне — поэзии "восьмидесятников", поговорить о "непропорциональном изобилии" среди них "романтических ироников" (И.Роднянская). На поверхности этой "волны" пока не самые интересные явления нового "иронизма", и к тому же этот "иронизм" в основном "сатириконовского", а не обзариутского толка (что и понятно: "дети застоя" имеют право на социальное негодование). Но все-таки ясно, что мощная постобзариутская линия в нашей поэзии, давшая в последние десятилетия ряд крупнейших поэтов, не может уже прерваться. Будут новые поэты (наверно, они уже есть), будут новые открытия, но нам сейчас важно понять открытия уже совершенные, уже живущие и питающие нашу культуру, хотя и мало пока кем по достоинству оцененные.

Москва, 1989



Юлий Даниэль

ОБРЫВКИ ВОСПОМИНАНИЙ

Мне было четыре года, когда мы с матерью поселились у Кировских — тогда еще Мясницких — ворот. А между Никитскими воротами и Арбатом жила мамина подруга, самая близкая, еще с довоенных, с полтавских времен. Вот мы и ездили к ней в гости. Дорога была одна: по бульварному кольцу, на трамвае "А", на "Аннушке". Поездки эти приходились большей частью на зиму — летом и мы, и они разъезжались из Москвы. И вот каждый раз, когда трамвай, кряхтя и притормаживая, сползал к Трубной площади, я прилипал к окошку, к продышанному глазку, и смотрел, как катаются по нескончаемой — от Сретенских до Трубной — ледяной дорожке. Я был совершенно убежден, что это самая длинная ледяная дорожка в мире. Впрочем, может, так оно и было? Мне уже тогда был свойственен некий фатализм, я понимал, что счастье случайно, что удачливость не зависит от меня; я только вздыхал про себя: "Вот если бы мы жили у Рождественского бульвара..." — и это было то же самое, что и "Вот если бы я был невидимкой..." или "Вот если бы у меня был ручной лев..."

Иногда я робко просил:

— Мам, давай сойдем у Сретенских?

— Зачем?

— Я прокачусь разок.

— Что ты, мы и так опаздываем...

Да, мы и так опаздывали, и в набитые трамваи сесть было трудно, и самое главное, в лице и в голосе мамы начисто отсутствовали те понимание и внимание, которые были у нее, когда я, к примеру, декламировал стихи или рассказывал о

детском утреннике — это мое трамвайное желание лежало за пределами “интеллигентного”...

Я подросток и стал ездить по Москве самостоятельно. Это значило, что я уже сам торопился, сам куда-то опаздывал; а когда не спешил и не опаздывал, меня останавливало другое: “Ну, как же это я, такой взрослый, такой рослый, вылезу из трамвая и буду скользить вниз среди малышей мне по колено? Ведь мне уже 10 (11, 12), а все считают, что не меньше 13-ти (14-ти, 15-ти). Нет, невозможно”. И я вздыхал и солидно смотрел в свой глазок на разноцветную малышню, которая с угадывающимся визгом скользила, сталкивалась, падала и, разбежавшись короткими шажками, снова впрыгивала на лед.

Я вернулся в Москву в самом начале марта 1945 года. На мне были сапоги и шинель. Рука у меня была на перевязи. В вагонах мне уступали место “взрослые” люди, и я довольно быстро выучился с достоинством принимать эти знаки внимания.

Позади было то же самое, что у большинства моих сверстников; впереди — нечто совершенно ослепительное и бесконечное. Надо было только потрясти мир своими стихами и объяснить с девушкой, в которую я был влюблен, причем первое было, на мой взгляд, много проще.

Я ехал в трамвае “А” по бульварному кольцу. Я нервничал, потому что опаздывал: предстоял важный разговор о прописке, о жилье, о продовольственных карточках. Трамвай медленно, с трудом поднимался от Трубной к Сретенским. И вдруг я увидел ледяную дорожку. По ней, растопырив руки, торопясь и толкаясь, катились ребятишки в укороченных ватниках, в курточках из шинельного сукна, в растоптанных валенках — счастливы, живущие около Рождественского бульвара.

Я слез на остановке, перешел на другую сторону, дождался, когда впереди не будет детишек, разбежался и поехал. Несколько раз мне приходилось спрыгивать в сторону, чтобы не сбить едущих впереди малышей; но уже во второй раз я пролетел весь спуск от начала до конца без перерывов, потому что впереди мчались добровольцы-мальчишки и пронзительно вопили, чтобы мне дали дорогу. Бабки и няньки, опасливо и снисходительно поглядывали на меня, предупреждали своих подопечных: “Погоди, погоди, вон солдатик едет, ну, выпил, ну, ничего, не ругается, не хулиганит...”

Я съехал в третий раз, сел в трамвай и поехал дальше, по своим делам.

Я не чувствовал ни смущения, ни иронической гордости за этот свой подвиг. Это не было и "исполнением желаний". Это был провал в детство, в 6-7 лет отроду, один из немногих естественных поступков в моей взрослой жизни.

"Ледяные дорожки" — это звучит скучно, определительно. В Харькове их называют чудесным словом "скользенки".

*

Когда мне было лет десять-одиннадцать я вычитал у Чехова слово "селянка" и как-то произнес его в разговоре с приятелями. "Чего, чего?" — "Селянка кушанье такое", — объяснил я. Меня жестоко высмеяли: "Селянка — это женщина, которая в селе живет".

Как на грех во все лето книжка Чехова мне не попадалась, словарей не было. "Селянку" мне еще несколько раз припомнили и всякий раз хохотали. А потом мы разъехались.

За тридцать с лишним лет это слово встречалось мне сотни раз, и не только в книгах, но и в меню, и в разговорах, и каждый раз обида накатывала снова. Двое из моих тогдашних собеседников убиты на войне; об одном я ничего не знаю; но с двоими я изредка встречался.

Ну и что? Начать объяснять им, что я был прав? Они скажут: "Ты спятил". Или: "Ты пьян". Или — в лучшем случае: "В самом деле мы тебе не поверили? забавно! И как ты все это помнишь?"

"Забавно"! Тогда я даже всплакнул тайком.

Меня довольно часто и больно обижали; на многое я плюнул и не вспоминал, за кое-что расквитался; но эта обида саднит до сих пор. И я совершенно бессилён сделать что-нибудь. Ах, как скверно, когда большой не может защитить маленького.

*

Недавно я прочитал в старом журнале отрывок из романа К. Федина "Костер". Там герой в начале войны идет в Ясную Поляну, и его принимают за шпиона: на нем элегантно пальто, а кроме того, он зачем-то соврал, что отстал от экскурсии.

Меня тоже однажды приняли за шпиона. Только одет я был вполне хреново и никому ничего не врал, и шел не на поклонение Толстому, а в районный центр Ершово Саратовской области.

Дело в том, что мне только что исполнилось 17 лет, и я считал себя вполне созревшим для воинских подвигов. Вот я и отправился в Ершово, в райвоенкомат, чтобы добровольно вступить в армию. Идти мне надо было километров сорок, на полдороге было село, где я собирался переночевать. И я действительно заночевал там. Произошло это так. Я уже подходил к селу, когда мне повстречался мальчишка лет 10-12. Он остановился, вытаращил на меня глаза и вдруг повернулся и побежал обратно. Я шагал дальше, в село, и вот, когда я миновал первые избы, вдруг из-за угла выскочили два солдата с винтовками (тогда мы еще говорили "красноармейцы" или "бойцы").

— А ну, стой!

Я остановился.

— А ну, поворачивай! Шагай!

Я повернулся и пошел. Меня привели в какой-то дом, я сел на лавку, и один из бойцов остался стеречь меня. Минут через пятнадцать в комнату влетел старший лейтенант (три "кубаря" в петлицах), подскочил ко мне и сбил у меня с головы шапку.

— А-а, успел уже волосы отрастить!

Что это значило, я сразу не понял. Позже я сообразил, что он считал меня бежавшим заключенным.

Потом он скомандовал:

— Встать!

Я встал.

— Ты зачем интересовался расположением аэродрома?

Я тупо молчал.

— Отвечай!

— Никаким аэродромом я не интересовался.

— А вот мы сейчас проверим.

Он распахнул дверь и крикнул:

— Иди сюда!

Вошел давешний мальчишка.

— Этот ?

— Этот, — сказал мальчишка.

— Что он тебе говорил?

— Спрашивал, где аэродром.

— Не ври, — сказал я, — я тебе ни слова не сказал.

— Спрашивал, — упрямо повторил паренек.

— Ладно, иди, — сказал офицер. — А этого закройте.

Меня заперли в каком-то чулане, где на полу, слава богу, была солома. Я лег на пол и стал думать. "Дурак какой, — думал я, содрогаясь от собственной дерзости: ведь я так обзывал командира Красной Армии! — какой дурак. Ведь если он принял меня за бежавшего арестанта, то мог бы сообразить, что бежавший арестант не станет расспрашивать об аэродроме. А если он действительно считает меня шпионом, то почему не спросил, кто я такой, где живу, есть ли документы?"

Часа через три дверь отворилась и мне велели войти. Я отряхнул солому и вышел в комнату. Там сидел пожилой командир со "шпалой". Капитан — сообразил я.

— Кто такой? — спросил он, — Как звать?

Я ответил.

— Где живешь?

— В Борисоглебовке.

— Куда шел?

— В Ершово.

— Зачем?

— В военкомат.

— Повестка есть?

— Нет.

— С какого года?

— С 25-го.

— 25-й еще не призывают.

— Я добровольно хочу.

— Не возьмут. Документ какой-нибудь есть?

Я дал ему ветхую, протертую на сгибах метрику.

— Москвич?

— Да.

— В какой школе учился? Где она?

— В 613-й. Большой Харитоньевский переулок.

— Кто директор? Завуч кто?

— Шестопалов Павел Петрович. Новобытова Анна Александровна.

— Не возьмут. — Я не понял. — В армию, говорю, не возьмут. Ну, ступай. погоди. Куда же ты ночью? Спи здесь. Есть хочешь?

— У меня есть хлеб.

— Ладно. Спи до утра. И с дураками больше не разговаривай.

Я так и не понял, кого он имел в виду: мальчишку или старшего лейтенанта.

В военкомате мне, разумеется, дали от ворот поворот. "Надо будет — вызовем. Герой тоже!" И вызвали. Через три месяца. Когда мы, призывники, проезжали через то село, где я был задержан, у меня впервые с тех пор возникла действительно шпионская мысль: "Черт, а где же в самом деле здесь аэродром?" Сейчас я думаю, что никакого аэродрома там и в помине не было. На кой ляд его располагать в голой, как плешь, степи?

А мальчишка тот, что наврал про меня, должно быть, до сих пор, если жив, рассказывает, как он в конце 42-го года задержал шпиона. И сам верит. Что-то все-таки в моем облике было, наверное, не деревенское, чужое.

Я в своей жизни встретил четырех настоящих шпионов. Один из них был замечательный человек, бывший эсер-боевик, после гражданской работавший за границей, в довольно крупных чинах; одно время непосредственно ему подчинялся знаменитый Рихард Зорге. Пострелял он на своем веку немало. В свое время он вернулся, загремел, естественно, в лагеря, потом был освобожден, реабилитирован и мирно доживал пенсионером. Я его как-то в хорошую минуту спросил:

— А.П., а вам "мальчики кровавые в глазах" не снятся по ночам?

— Нет, что вы.

— Никаких сожалений?

— Нет, почему же, сожаления есть. Двух человек не убил, хотя мог это сделать свободно.

Это кого же?

— А я в ссылке в Туруханском крае вместе со Сталиным был. Он часто на охоту ходил, в тайгу; если бы его там прикончить, через сутки и костей бы не осталось — зверье бы растаскало.

— А второй?

— А второй в начале двадцатых через два-три столика от меня в мюнхенской пивной сидел. Гитлер.

— Н-да.

— Вот вам и "н-да". Впрочем, когда я говорю о своих сожалениях, то сам чувствую, что это мое личное, эмоциональное, что ли. В целом ничего бы не изменилось. Были бы другой Сталин и другой Гитлер...

Еще шпионов я видел уже в лагере. Один был полное ничтожество: инженер, продававший чертежи американцам только ради денег и тряпок для жены, какой-то видной спортсменки; он жаловался, что она его и втравила в это дело, она же и отреклаась от него сразу после ареста.

Второй был латыш, уже пожилой, запущенный на территорию Латвии после войны, прошедший обучение в Штатах в школе разведчиков. Я его увидел после его трехлетнего пребывания во Владимире, в "крытке", куда он был отправлен из лагеря за то, что обучал латышскую молодежь разным боевым приемам. Был он приморенный, замкнутый и общался, да и то мало, только с компатриотами.

Третий был туркмен, круглолицый, веселый, производящий впечатление деревенского дурачка. Мы с ним играли на самодельном бильярде, он комиковал, гримасничал и, казалось, радовался тому, что был мишенью для шуток. Все к нему относились свысока, но снисходительно: что взять с убогого?

Кто он был на самом деле, я узнал много позже, случайно. Я был уже в другом лагере, у нас была небольшая дружная компания, и около нас всегда околачивался турок Исса, пожилой, маленький, сгорбленный. По-русски знал он слов 10-15, не больше. Кое-как, через тюркоязычных зеков, он объяснил, что он честный контрабандист и таскал туда-сюда немножко барахла, а его посчитали шпионом и дали 15 лет.

По вечерам, когда мы собирались в курилке и толковали об утопических учениях, об экзистенциализме, об абстрактной живописи и конкретной музыке, Исса сидел с нами, курил и время от времени гладил кого-нибудь из нас по плечу и бормотал: "Брат, хорошо". Однажды после таких посиделок мы с приятелем вышли и я сказал ему: "Как жалко Иссе! Сидит без языка, не с кем словом перемолвиться. Бедняга". — "А вы уверены, что ему не приходится сдерживаться, чтобы не вмешаться со своей точкой зрения на Платона или, скажем, Кампанеллу?" — "Да будет вам чушь пороть!" — "Может, и чушь. Я ведь не утверждаю, а только предполагаю. Вы помните О., туркмена на 11-ом, вашего партнера по бильярду? Какого вы мнения о нем? Какое у него, к примеру, образование?" — "Я думаю, 2-3 класса сельской школы, максимум". — "Угу, максимум. А сельскохозяйственный институт в Ашхабаде — не хотите ли?" — "Не может быть!" — "А до этого десятилетка в кишлаке. А до кишлака, —

мой собеседник сделал паузу, — Оксфорд”. — “Что-о?” — “Оксфорд, Оксфорд — слышали про такой ВУЗ? У этого самого О. был дядя, который в начале тридцатых годов сбежал в Афганистан. Там он разбогател и стал весьма влиятельной персоной. Он выписал себе племянника, нелегальным, конечно, манером, дал ему тамошнее образование, а потом отправил в Англию. О. учился в Оксфорде, а заодно еще кое-где. Потом вернулся в Афганистан, снова перешел границу, затесался в какой-то кишлак, пастушил, кончил школу — на тройки, естественно, — и как сельский кадр был принят в Ашхабадский институт. Он агроном или ветеринар, не помню точно”. — “Ну и дела! Так вы думаете, что Исса тоже...” — “Ничего я не думаю, я только делаю допущение”.

На другой день в столовой произошел скандал. У раздаточного окна столкнулись два зека: маленький инвалид Исса и здоровенный лоб, мужик из строительной бригады. Строителям обычно уступали очередь, уступил бы и Исса, но тот грубо оттер его от окна и обматерил вдобавок. Что-то, а русский мат Исса понимал. Он гневно закричал что-то по-турецки и снова придвинулся к окну. Его противник, нависнув над ним, замахнулся. И тогда... Я не успел рассмотреть, как это произошло, я только увидел, как крохотный старый Исса стоит и вопит на своем языке, а обидевший его Голиаф корчится на полу, обливаясь кровью. Кровь хлестала изо рта, из носа, чуть ли не из ушей. Ему было, очевидно, очень больно, но даже гримаса боли не могла скрыть величайшего изумления.

— “Вы помните наш вчерашний разговор?” — “Да”, — сказал я. — “Так вот, наш турок применил спецприем”. — “Откуда вы знаете?” — “А о таком приеме нам на 11-ом наш земляк рассказывал. Помните, латыш, разведчик?”

Слово “шпион” я употребляю только в одном смысле — “разведчик. Обычно шпионами именуют еще осведомителей, доносчиков, сексотов, стукачей. Таких-то я видел великое множество.

Меня самого однажды вербовали в осведомители. Это было в армии, в училище. В теплый весенний денек мы шли по лесу на тактические занятия, тропка была узкая, мы шли цепочкой, я замыкал строй, на повороте я вильнул в сторону, нашел полянку поуютней и улегся спать. Проснувшись, я с ужасом увидел, что у моей СВТ нет затвора. Я обшарил все вокруг, но затвора не нашел. Ожидая всех бед и напастей, я по-

плелся назад, в расположение нашей роты. Моего отсутствия никто из взвода не заметил, но я понимал, что передышка до первой проверки оружия. Но получилось все иначе.

К вечеру мне скомандовали: "К командиру роты!" Я пошел на расправу. Откинув дверь командирской палатки, рывкнул: "Разрешите войти?" — "Войдите". — "По вашему приказанию курсант Даниэль прибыл". — "Вот, Даниэль, с вами хочет побеседовать товарищ капитан". Тут только я заметил сидевшему сбоку незнакомого капитана. Командир роты вышел. "Садитесь, — сказал капитан. — Давайте знакомиться". Он очень подробно выпросил у меня все мои данные, предложил папироску. Потом... потом он предложил мне стать стукачем. Сделал он это вполне элегантно.

— Вы, Даниэль, человек интеллигентный, образованный. Вы сами понимаете, как много значат боевой дух и моральный облик будущих командиров. Наверняка понимаете также, как важно командованию знать, чем дышат курсанты, чего можно от них ожидать. Вот мы и хотим, чтобы вы нам помогли. Ну, там разговоры разные, пересуды, кривотолки. Анекдоты. Все это надо брать на карандашик. Понятно?

— Так точно, товарищ капитан, понятно. А как мне вам сообщать?

— А я вас сам вызову, недельки этак через полторы. Точнее, не я, а командир роты. Только мы трое и будем знать. Никому ни слова, понятно?

— Так точно, товарищ капитан, понятно.

— Ну, вот и хорошо. Может, просьбы какие-нибудь есть, пожелания?

— Нет товарищ капитан, у меня все в порядке.

— Значит, договорились. До свиданья, идите.

Я повернулся налево кругом и вышел. Командир роты курсировал взад и вперед на некотором расстоянии от палатки. Когда я поровнялся с ним, он жестом остановил меня, запустил руку в карман и вытащил мой затвор.

— Вот, возьми. И больше не сачкуй. Скажи спасибо, что это я на тебя, спящего, наткнулся, да и вот теперь такие обстоятельства получились...

Через некоторое время меня вызвали. Давешний капитан встретил меня приветливо, поздоровался за руку, усадил. Я, очень сконфуженный и огорченный, сообщил ему, что неподо-

бающие разговоры, действительно, среди курсантов бывают.

— Какие?

— Анекдоты. Такие, знаете, с нехорошим душком.

— Рассказывайте.

Я, стесняясь, рассказал ему два анекдота. Это были солдатские, сортирные анекдоты, где слово “жопа” было самым изысканным, а содержание крутилось вокруг мужской мощи и женской ненасытности.

После первого анекдота капитан положил приготовленный карандаш, после второго захлопнул бокнот. Я замолчал. Мне было очень стыдно, что я при офицере произношу такие слова.

— Все? — спросил он.

— Нет, — ответил я, — еще есть.

— Такие же?

— Да, примерно, такие.

— Антисоветские анекдоты есть? — спросил он напрямик.

— Так вот же я вам рассказываю. Будущий командир, вы сами сказали, должен быть... ну, как это? Моральный облик должен быть на высоте, а они...

— Хватит, — сказал капитан и уставился на меня.

Он долго, внимательно всматривался, стараясь определить, идиот ли я или только прикидываюсь, а я смотрел на него честным, добродетельным взглядом и благословлял память Гашека, изобретателя лучшей солдатской брони, лучшего укрытия, ДОТ'а, ДЗОТ'а — Йозефа Швейка.

— Идите, — сказал капитан.

Тот недолгий остаток времени, что я еще пробыл в училище, командир роты, старший лейтенант, был ко мне очень благосклонен...

*

Я не смог бы найти это место на карте. Один за другим менялись литовские хутора, наши ночевки и привалы. Бомбежки и обстрелы были однообразны и отличались друг от друга лишь числом убитых и раненых. Это был август сорок четвертого, по слухам мы выходили к границам Восточной Пруссии, и солдаты в открытую матерились, что, мол, командиры частей соревнуются, кто первый перейдет границу, и из-за своих будущих орденов гробят солдат. Ни тебе артподготовки, ни авиации. Это было похоже на правду. Несколько раз уже наши бата-

льоны пытались взять какие-то рубежи, и каждый раз их отбрасывали. Дошел черед и до нас. С утра раздали гранаты, объяснили, что наступать будем по полю, ползком, к опушке, по свистку поднимемся и побежим в атаку. Я прицепил гранату к поясу, проверил диск и покрепче привязал к автомату цветной литовский поясok из шерсти. Мне выдали автомат без ремня ("Сам найдешь!"), и я подобрал этот красивый поясok на брошенном хуторе. Все хутора были брошены. Вообще литовцев я видел только в Вильнюсе. Каунас, когда мы маршем прошли через него, был пуст, как вымер, а хутора выглядели так, как будто их обитатели полчаса назад убежали в лес, бросив все хозяйство на ходу.

Так оно большей частью и было. Тридцать лет спустя мой знакомый рассказал, как они всей семьей ушли в лес, и только отец наведывался на хутор, посмотреть, цел ли. В один раз он застал там двух пацанов — советских солдат: они мыкались по дому в поисках еды. Он их накормил, они наелись, сказали "спасибо" и пошли, а он бежал вслед за ними, крича, что они забыли оружие...

На таком вот хуторе я и взял поясok для автомата. А еще я подобрал валявшееся во дворе ожерелье из зеленых камней — какие-то резные камни, довольно красивые; я его подарил первой встретившейся женщине — просто так, без всякой корысти. Это была не то санитарка, не то регулировщица, не помню. До сих пор не знаю, как назвать то, что я взял это ожерелье: кража? мародерство? грабеж? Я ведь все-таки ни у кого не отнимал, оно валялось, может, брошенное, может, потерянное. На всякий случай через тридцать лет моя жена подарила ("вернула", как она сказала) знакомой литовке — та была с хутора родом — браслет с зелеными камушками.

Мы вылезли из леса и поползли через рожь, она была уже высокой, в полроста, и густой, метров через десять мы уже перестали видеть друг друга. Я лез, наклонив голову, стараясь уберечь лицо, без единой мысли в голове, на четвереньках, вперед, сквозь душный запах ржи, и комья земли с жесткой коркой, а внутри рассыпающиеся, мягкие, податливые, были надежными и дружественными. Я полз долго, а свистка все не было и не было, и я уже не слышал шороха ползущих где-то рядом. Я испугался, что ползу не туда, что заблудился, что не услышал свистка, прозевал, не готов к атаке. Где граната? Я стал шарить у пояса, ничего

не нащупал и, растерявшись, встал на колени. Я успел увидеть, что гранаты нет, я ее потерял, и еще я с великим изумлением увидел совсем близкую опушку — метров двадцать, не больше, и тут меня сильно толкнуло в правое плечо, а потом в левую кисть, и я сел на землю. Из основания большого пальца на левой руке текла кровь, и сначала я увидел ее, а уж потом темные пятна на правом рукаве. Я поднял правую руку, и она прогнулась, но не в локте, а выше, гораздо выше, там, где ей сгибаться совсем не полагалось. Я понял, что ранен, именно понял, потому что увидеть свое ранение — это не значит сразу понять, что, собственно, случилось.

Я был очень спокоен, и голова у меня была ясная. Первым делом я снял автомат и положил его на землю ("бросил оружие"). Потом снял ремень и попробовал затянуть им руку выше раны. Из этого ничего не вышло — ремень был широкий и твердый, да и целого места для перевязки на плече почти не оставалось. Потом я лег на спину, левой рукой положил правую на грудь и пополз обратно. Я полз, отталкиваясь каблучками и левым локтем, опираясь на затылок.

Это продолжалось долго, очень долго. Дело шло к полдню, солнце припекало всюду, кровь текла, я очень устал. Хотя я пытался возвратиться по собственному следу, я, конечно, сбился с пути. Еще бы! Ползти на спине, не глядя!

И вот я почти свалился в какую-то яму. Это был небольшой — метров десять в поперечнике — котлованчик, на дне его была лужа, а по ту сторону лужи — дерево. Я, согнувшись, прошлепал по луже, потом напился из нее и лег в тень, под дерево. Рука не болела, и это было странно, потому что она болталась, как у куклы, и я слышал, как трутся и похрустывает раздробленные кости. Ах, как славно было лежать в тени, обсыхая от пота, глядя в небо, ровноголубое, спокойное. Не знаю, почему я не слышал ни стрельбы, ни криков; наверное, они были — просто я уже, должно быть, выключился из войны, и мои чувства отсекали все, что не относилось к моему телу, худому и пыльному телу с нелепо вывернутой, мертвой рукой.

Я стал задремывать. Наверное, я так люблю спать сейчас, потому что недоспал там, в этой яме, под тихим теплым небом Литвы или Пруссии — так я и не узнал, где это случилось. Но тогда я понял, что нельзя давать себе поблажку, что я истеку кровью, что надо идти. Я вылез на край ямы и выглянул: до нашей опушки оставалось метров тридцать. "Не доползу", — подумал я.

Это был самообман — я бы добрался; но рука уже начала болеть, и вместе с болью ко мне вернулось что-то, что было сильней инстинкта самосохранения — брезгливость, что ли? Мне стало невыносимо противно снова лечь на спину и ползти, как червяк, как червь, мать их... Я снова обрел способность ругаться.

Я встал, взял правую руку в левую и, пригибаясь, побежал.

Когда я вбежал в лес и, задыхаясь, побрел меж деревьев, первый, кто мне встретился, был санитар.

— Давай перевязывай!

Он — пожилой мешковатый белорус — трясущимися руками распустил бинт во всю длину, до земли, и топтался вокруг меня, не зная, как приступить к перевязке.

Я выругался.

— Да, братушка, да я же не знаю, да только мобилизовали...

— Собери бинт, не распускай! Сюда клади конец. Обматывай. Сильней!

Он кое-как обмотал руку поверх рукава, свернул мне сигарку, зажег, и я, держа ее в растопыренной левой руке, пошел в медсанбат. Примерно через километр мне встретился военфельдшер. Он был пьян, но ловко разрезал рукав, перевязал и подвесил руку. Когда он разрезал гимнастерку, я увидел, что ранен не только в плечо: на предплечье была здоровенная рана. Там была перебита только одна кость, и поэтому здесь рука не вихлялась, как в плече.

Добравшись до медсанбата, я долго сидел у операционной палатки, тупо наблюдая, как из нее выносят ведра с руками и ногами. Потом меня положили на стол, хирург-капитан спросил, откуда я. "А-а, земляк", — ухмыльнулся он, услышал, что я москвич. "А раз земляк, то руку не отрезайте", — сказал я. "Ладно, посмотрим, ты засыпай-знай. Считай!" Я стал считать, досчитал до тринадцати и полетел в звездное, звенящее небо.

Когда я очнулся, рука была на месте — уже в лангете, белая и неуклюжая. Больше я не помню, что за чем было и сколько длилось. Трясая подвода, налет, мессера, идущие сверху, я лежу на спине, и единственное, что я могу сделать — это закрыть глаза; вагон в пассажирском поезде, приспособленном под саншелон, с верхней полки сквозь щель мне на грудь течет кровь; Вильнюс, я пытаюсь ходить; госпитальные сестры из того отделения, с которым я расстался месяца полтора-два назад; меня гипсуют, больно до умоисступления. "Ругайся, сол-

дат”, — говорит врач. “Не могу — женщины”, — хорохорюсь я; запасные пути на каком-то московском вокзале, Куйбышев, Маруська-танкистка сует сотню пареньку, посылает по продиктованному мною адресу, мама, Бугуруслан, когда меня выносят из вагона, бабы крестятся — покойника несут, молоденького. Куйбышев, запах гноя, сотни, тысячи километров, миллиметровое движение мизинцем — первым ожившим пальцем...

Я подумал сейчас, почему из захламленной памяти настойчиво, требовательно вылезают цифры расстояний: двадцать метров, тридцать, километр, миллиметр? Ответ может быть лишь один: мерами длины — не времени — измерялись жизнь и смерть. Сантиметров семьдесят-восемьдесят было между моими простреленными руками — посередине был я. И так во всем.

Интересно бы знать, кто из литовцев — моих товарищей по лагерю — подобрал автомат с цветным пояском?

*

Вошло несколько офицеров. Один из них — младший по званию — сказал: “А ну, славяне, давай отсюда в первую комнату. Здесь будут пленных допрашивать”.

Мы вышли в первую комнату. Там уже толпились пленные — десять человек. Это была странная компания: пятеро русских, четверо французов и один немец. Немец держался особняком, молчал, смотрел вверх голов.

— Ты кто такой? — спросил его приبلудившийся к нам старшина в тельняшке под распахнутой гимнастеркой. — Танкист? Автоматчик?

Немец молчал. Я повторил вопрос по-немецки.

— Я шофер, — сказал немец.

— Шофер?! Ах, ты, сука! Все вы шофера да санитары, когда в плен попадаете. А кто же в нас стреляет, гад? — и морячок замахнулся. Немец вздернул подбородок. Больше он не отвечал, сколько я его не спрашивал. Морячка уняли, и он устался в окно, что-то бормоча.

Русские сами пытались заговаривать с нами, но мы не хотели с ними говорить. Молодые, безжалостные, еще не остывшие от боя, мы не знали тогда (да и знать не хотели), какие пути приводили русских солдат в немецкую армию. Сколько лет понадобилось мне, чтобы усомниться в том, что именно они виноваты? Двадцать с лишним. Да, лишь через двадцать лет я по-

нял, что, может быть, эти пятеро заслуживали не ненависти, а жалости. Теперь я уже не узнаю, кто они были: предатели или жертвы предательства.

А французы переговаривались вполголоса. Им очень хотелось радоваться, что, они, наконец, в плену; но в плену ли? Может, это не плен, а полчаса перед смертью, и эта грязная комнатушка — трамплин на тот свет?

— А эти кто? — спросил меня один из наших. Они свято верили в мою образованность, и мой варварский немецкий вызывал у них восхищение.

— А черт их знает, — сказал я, — не то итальянцы, не то французы.

— *Nous sommes Français*, — обрадовались французы и зачестили по-французски. Я развел руками и выдавил:

— Нэ парле франсез.

И тут вдруг мой дружок Петька, с которым меня вместе выгнали из двух офицерских училищ и спровадили из запасного полка, Петька Смирнов, пропивший новехонькую курсантскую форму в Привольске, Петька, с которым мы, поругавшись, долго били друг другу морду под минометным обстрелом, этот Петька вдруг вспомнил, что он когда-то все-таки учился в пятом классе.

— *Un, deux, trois, quatre*, — заявил он нахально. — *Cinq, six* — и, загибая пальцы, досчитал до десяти.

Боже, что стало с французами! Они зашумели, закричали, окружили Петьку, стали хватать за руки, хлопать по плечам. По-моему, они решили, что эти дурацкие цифры — формула отпущения грехов, индульгенция, пропуск в жизнь.

Петька иссяк. Но французам этого было достаточно... Они расслабились, закурили, стали угощать нас сигаретами...

Мрачный морячок вдруг повернулся к нам и сказал, указывая на окно:

— Братва, там какая-то хреновина.

И тут же на окраине деревни рвануло. Мы бросились к окнам. На улице началась суматоха, заторопились повозки, грузовики, полевые кухни, шли солдаты, оглядываясь назад. Мы выскочили из дома.

— Эй, ребята, что там?

— Говорят, танки прорвались!

Если бы немцы ударили по центру, по самой деревне, они

бы наломали дров. Но они обрабатывали линию обороны — то есть то место, где она должна была быть: в эту огромную деревню вошли с боем сразу несколько наших частей, и каждый из командиров понадеялся на других.

— Отступаем!

Мы бросились в дом за пожитками. Вместе с нами в дом вскочили конвоиры. Один из них распахнул дверь в дальнюю комнату:

— Товарищ капитан, отступаем!

Офицеры вышли на улицу и сели в виллис.

— Товарищ капитан, как с пленными?

Что меня потом, когда я вспоминал этот случай, поражало, это что офицер не раздумывал ни мгновенья. Он отчеканил так, как эта ситуация была предусмотрена уставом или инструкцией:

— Русских, немца — к стенке, французов — с собой!

И виллис уехал.

Шесть человек были поставлены к стене дома и расстреляны автоматными очередями. Потом автоматчики сказали "Айда!", и мы все побежали — конвоиры, мы и французы.

Бежали мы недолго — метров триста. На дороге встал какой-то полковник с пистолетом. Он остановил нас, отmaterил и послал в цепь. Один из автоматчиков доложил ему о пленных.

— А, французы, — сказал полковник с каким-то непонятным доброжелательством и благодушно махнул рукой. — Драпайте.

Французы с конвоирами драпанули дальше.

Почему, собственно, к французам такое отношение? Если попытаться рассуждать, то именно эти четверо были хуже немца — врага, солдата воюющей с нами Германии: это были, вероятно, добровольцы, какая-нибудь уголовная сволочь или, хуже того, французские фашисты — явление, как мне кажется, противоестественное. Ну, хорошо, мы, горожане, так называемая интеллигенция, осколки русской культуры XIX века, мы знаем имена Рабле и Вольтера, Сары Бернар и Бизе, Шампольона и Пастера; наши Татьяны, Печорины и Рудины изъяснялись по-французски; наши герои бежали в Париж — спасаясь от тюрьмы, в чаянии славы или просто — завить горе веревочкой, пыль в глаза пустить — для нас есть некое изначальное, априорное обаяние в этом звании — "француз". И ведь у всех, у всех без исключе-

ния россиян исчезает напряжение, когда они сталкиваются с французами. Как будто не было ни 1812 года, ни Крымской войны, ни оккупации Одессы. Ну, я еще понимаю тех дур, которые насмотрелись французских кинокомедий да от бабушек краем уха слышали о Поль де-Коке. В их представлении француз — это рьяный кавалер, чья главная идея — немедленно затащить их в постель. Пришел как-то знакомый француз в гости к моему другу. Дамочки — дальние родственницы — сбежались посмотреть. После одна из них выразила общее разочарование: "Не очень-то он вежлив, этот ваш француз!" Еще бы! Он был рыжий, а не знойный брюнет, физиономию украшали не обольстительные усы, а золотые профессорские очки, и он говорил о поэзии Маяковского, вместо того, чтобы хватать их за коленки. А у них-то, у бедняжек, была модель французской "вежливости", и вдруг такое... Бог с ними, но мы-то, наши-то, солдаты, мужики, раскаленный добела полковник, автоматчики, которым о своей шкуре в пору думать, — что нам-то французы? И Москва из-за них сгорела; и Грибоедов ругался, и Достоевский захлебывался, и Щедрин язвил; и Пушкина не Шульц и не Смит, а Дантес ухлопал! А вот поди ж ты! Французы, Франция — на сердце теплеет, и губы сами распускаются в улыбку.

Я не знаю, в чем причины этой непреходящей любви к Франции, но она была и есть, и деться от нее некуда...

Казнь, которую я увидел, не произвела тогда на меня особого впечатления. Хотя, если вдуматься, за что немца-то расстреляли? Пленный как пленный.

А вторая (и слава Богу, последняя) казнь, виденная мною, была отвратительной; это я почувствовал сразу, тогда же. Его звали Адам Нольф, он был из дивизии "Викинг", и местные жители опознали его в колонне пленных как командира зондеркоманды, сжегшей деревню при отступлении. Другие пленные это немедленно подтвердили. Был устроен суд, его осудили на повешение и публично повесили с грузовика. В ватные штаны висельника кто-то ткнул сигарку, и труп потихонечку дымился.

Мне не жаль его ничуть; но убийство — это страшное дело, и его нельзя превращать в зрелище. Я не берусь судить, допустима ли вообще смертная казнь; наверное, прав Лев Копелев: нельзя казнить. (Но: "Расстрелять!" — сказал Алеша Карамазов). Не знаю. Но публичная казнь — это наверняка преступление.

В это первое послевоенное лето мне почему-то казалось очень важным и нужным найти моих довоенных друзей и знакомых. Наверно, во мне работала схема, литературный стереотип: после долгой военной разлуки друзья детства и юности заключают друг друга в объятия, делятся самым заветным и затем, рука об руку, шагают вместе к лучезарным далям.

Несколько раз меня приложили мордой об стол.

По странному совпадению я раз за разом встречался с людьми, не побывавшими на фронте. Что-то было неладное в их отношении ко мне. Тогда, в 19 лет, я не мог понять, что именно не так, почему какой-то неприятный осадок оставляет общение с этими людьми, с их родителями, с их новыми семьями. Они были очень участливы, они очень расспрашивали, ужасались и восхищались и провозглашали тосты в мою честь. Они принимали меня, как принимают вернувшегося из больницы, выздоровевшего после того, как был сшиблен машиной. Да, это прекрасно, как мужественно ты вел себя во время операции, да, это, наверное, невыносимо тягостно лежать в гипсе, ты это выдержал, тобою можно гордиться — ну, давай, еще раз, за твоё здоровье, за успехи! И за всем тем, за их благожелательностью, стояло то, что я понял много позже: они-то были здоровыми! Они-то не попадали под машину! Я не думаю, чтобы это вечное превосходство здорового над больным было так уж осознано ими, но оно было. И не могло не быть.

Они и их жены (или мужья) учились на вторых и третьих курсах институтов, на них были гражданские ботинки и пиджаки, они знали о жизни (так казалось им — и мне) то, чего не знал я, они понимали, с кем, как и о чем разговаривать. А главное — жизнь не была для них разделена надвое какой-либо датой: ну, скажем, 9 мая. Или, как у меня, выходом из госпиталя. Их взрослая жизнь началась раньше, и никакие мои медали не делали меня равным им, не вытаскивали из мальчиков.

...На подмосковной даче, принадлежащей очень благополучному, очень академическому семейству, я сидел на веранде у накрытого стола. Я увидел напрочь забытые вещи. Нет, я не про еду, хотя она отличалась от нашей, как белоснежная рубашка и летние туфли хозяина от моих гимнастерки и кирзовых сапог. Там были предметы, потерянные где-то в дестве и ушедшие не только от меня, но, кажется, и от быта всей страны:

салфетки в кольцах и металлические подставочки для вилок и ножей, похожие на распрямленные и отполированные стрелки колючей проволоки. А перед моим прибором сияла бутылка водки, купленная, как мне сообщили, специально для меня. И я выпил один эту бутылку, хотя мне очень хотелось светлого грузинского вина, но я постеснялся попросить, я не сумел выйти из навязанной мне роли солдата-победителя. Я выпил эту водку, и опьянел, и рассказывал, и, разумеется, привирал. Они сидели и слушали, и спрашивали, и с каким стыдом я вспоминал потом их доброжелательные, участливые, терпеливые лица! Меня проводили на станцию, усадили в электричку, пожелали благополучия ("Тебе нужно непременно поступать в ВУЗ, и как можно скорее!") и больше не пригласили. Это был единственный срыв в превосходно проведенной церемонии Воздания Долга Защитнику Родины. А в остальном все было так безупречно, так благородно и интеллигентно, так со вкусом, что сетовать решительно не на что. Но почему же, когда я вспоминаю этот прием, мне приходит на память изветное полотно Кончаловского, изображающее знаменитого советского писателя графа Алексея Николаевича Толстого, который всласть выпивает и закусывает за столом, уставленным обильной жратвой? Год тысяча девятьсот сорок четвертый — дата на холсте. Милые, деликатные, сдержанные люди — и торжествующее, утробное хамство Толстого. Какая тут связь?

Боже, как затянулась моя детскость! Я теперь никогда не узнаю, только ли война была тому причиной: голод, холод, хутора в Сталинградской области, деревня в Саратовской, дурацкая муштра в офицерском училище*, фронт, полгода госпиталя... Казалось бы, все это должно было ускорить мое повзреление. Нет же! Годы понадобились для того, чтобы я научился смотреть не снизу вверх на любого встречного, чтобы научился

* Бесконечная строевая подготовка, до сантиметра расчисленные движения рук и ног, на всю жизнь запомнившийся идиотский для этой войны прием под названием "От кавалерии — закройсь!": по этой команде надо было присесть на корточки, а винтовку, держа ее снизу кончиками пальцев за ложе, поднять над головой. Предполагалось, что это спасет нас, когда немецкие всадники образца 43-го года начнут рубать нас саблями. А может, мечами или ятаганами. Я думаю, что за всю свою службу я все-таки совершил поступки, достойные похвалы: заставил выгнать себя из Саратовского училища и отказался учиться в Могилев-

верить не всему, что мне говорят, чтобы держаться с достоинством. Чтобы научился думать.

...Гимнастерка и галифе пришли в совершенную негодность. Но я был богат: у меня были две трети отцовского, когда-то очень хорошего костюма — коричневые штаны и жилетка. И появилась белая шелковая рубашка — подарок. Я заправил брюки в мои кирзовые, рубаху — в брюки, надел жилетку, скрыл все это убранство шинелью и отправился в гости. И только сняв шинель и увидев потрясенное лицо хозяйки дома, я оценил в полной мере свой наряд. То есть, это она его оценила, а я оценку уразумел. В этом, на сей раз не очень интеллигентном, но очень ухоженном и богатом доме появился молодой конокрад. Мне нехватало лишь картуза и кнута за голенищем. Я был смугл в юности, и цыганки, прежде чем пристать с гаданьем, всегда спрашивали, не цыган ли я. Я очень гордился такими вопросами. Мой школьный дружок, чьей женой была хозяйка дома, молодой журналист, деликатностью не отличался. Он попросту заржал, увидя меня: "Ну, ты и вырядился!" И после, за столом, когда мы пили и ели, он нет-нет да и ухмылялся, глядя на меня. Его жена, дочь каких-то важных родителей, сервировала нам стол и удалилась с обиженным лицом. Ей были неинтересны ни наши школьные воспоминанья, ни биография ее супруга, которую он излагал мне со вкусом, гордясь собой. В 41-ом он работал в райкоме комсомола, в 42-ом стал писать для газеты, в 43-м вступил в партию. "Это мне зачтется! — шумел он. — Понимаешь, немцы на Волге, вот-вот до Урала рванут, а я — в партию!" Он собирался делать большую карьеру. Лет через 12-13 он уже выпивал вместе с Хрущевым ("Ну, и как он тебе?" — "Э-э, он коньяк селедкой закусывает"). Он не сделал карьеру, мой школьный дружок. Ему не помогли ни безупречная анкета, ни внешность былинного добра-молодца, ни партийный стаж с 43-го года. Он спился. И высокопоставленность жен снижалась с каждым новым браком.

ском. У меня хватило ума и совести понять, что я не имею права командовать взводом, что это было бы подлостью — распоряжаться жизнью и смертью 40 человек, не умея читать карту, собрать пулемет, решить примитивную тактическую задачу... Там, на фронте, моим бойцам мало помогло бы, что я мог пробежать километр в противогазе или четко выполнить команду "Ряды вздвой!" Я стал солдатом, и, как сотни тысяч других, старался опровергнуть дешевый афоризм кадровых вояк: "Плох тот солдат, который не хочет стать генералом".

Почему я не ушел от стола? Почему я не плюнул и не выматерился? Почему я не сказал девушке, в которую мы оба со школьных лет были влюблены, что все его рассказы о высадках за линией фронта и партизанских рейдах — сплошное вранье? Что были только дешевая журналистика в глубоком тылу и прикрепление карточек к закрытым распределителям? Я не знаю. Наверное, все та же инфантильность души и ума, боязнь самостоятельности.

Легко и просто было с фронтовиками. Причем вовсе не обязательно, чтобы мы говорили о войне. У меня были и есть десятки знакомых, с которыми мы двух слов о фронте не сказали, и все-таки чувство равенства постоянно согревало все наши разговоры, все общения. А уж если за плечами было что-то, пережитое вместе...

...Я шел через анфиладу палат госпиталя в Смоленске. Я уже выздоровел и доживал в госпитале последние дни не в качестве пациента — я работал, помогал сестрам и санитаркам. И вдруг в одной из палат меня окликнули:

— Юлька!

"Юлькой" меня мог назвать только москвич, кто-то из прежней, довоенной жизни: в армии меня называли "Юркой". Я стал озираться — ни одного знакомого лица.

— Юлька, сюда!

Я подошел к постели. Глаза казались огромными на исхудалом, сжавшемся лице. Он смотрел на меня, и его лицо то ли улыбалось, то ли кривилось.

— Не узнаешь? Мишка Б.

Я бросился к нему. Мы учились в одной школе, "у Харитонья в переулке", напротив домика, куда примчался возок Лариных, где матушки и тетушки взахлеб вспоминали "Грандисона... славного франта". Он — Мишка, а не Грандисон, — учился классом старше меня, мы приятельствовали, бывали друг у друга, вместе занимались какими-то школьными делами, самодельностью, что ли.

— Что с тобой?

Он сделал режущий жест ребром ладони поперек ноги. Осколок мины перебил ему кость, товарищи понесли его, нога, повисшая на мясе и сухожилиях, болталась, мешала. Он велел положить его на землю и отсек ногу ножом.

Я носил его на перевязки на руках — весу в нем было как

в ребенке. Врачи и сестры зондировали рану, снимали присохшие бинты, отдирали тампоны. Он лежал на столе, улыбался и травил анекдоты, да так лихо, что все кругом хохотали и поражались — нет, не выдержке, а его мастерству краснобая-юмориста. Потом я уносил его в палату, он накрывался с головой одеялом, скрипел зубами и плакал.

Когда его отправляли с санэшелоном, я спер в каптерке новехонькую офицерскую шинель и отдал ему, в дороге он сменял ее на выпивку. Их везли через Москву куда-то дальше, на Восток. В Москве он на костылях выкарабкался из вагона и спрятался где-то на вокзале. Когда эшелон ушел, он явился в вокзальную комендатуру и добился, что его положили в московский госпиталь. Оттуда он позвонил матери. А накануне ей пришла "похоронка" на него — извещение о том, что он "пал смертью храбрых".

Два друга у меня осталось со школьных времен: он и Борис З., который начал воевать в 16 лет, прошел всю войну и вернулся позже нас всех — такой же, как в ту пору, когда мы с ним учились в одном классе: мне всегда казалось, что душа его защищена грязеотталкивающей пленкой. Тогда, в школе, его долго не хотели принимать в комсомол — за дружбу со мной. Это удивительно, ведь моя политическая тупость стала исчезать лишь к 25-30 годам, но что-то, очевидно, было во мне, что дало повод для страшного определения: "Он скатился в болото оппортунизма". Что такое "оппортунизм", я тогда, в 14-15 лет, не знал, но огорчился чрезвычайно. Еще бы — "болото"! Впрочем, я и того не знал, что и болота не всегда надо осушать.

Так вот, мы трое понимали друг друга сходу, о чем бы речь ни шла, хотя оба они "технари", а я "гуманитарий". Я никогда не спрашивал у них, ощущали ли они по возвращении этот невидимый барьер между вернувшимися с войны и на войну не бывавшими. Наверное, ощущали, но молчали так же, как и я.

Любопытно, что никакого барьера не было после моего второго возвращения — из заключения. Может быть, это потому, что тюрьма и лагерь ближе и привычнее не бывавшим в них, чем фронт — тыловикам?



● ●

Диссидентский романс:

“В оппозицию девушка провожала бойца...”

◡

Генрих Сапгир, человек очень талантливый, называл себя “поэтом будущего”. Лев Халиф подарил ему свою книгу. Сделал такую надпись:

“Поэту будущего от поэта настоящего!”

● ◡

Явился раз Битов к Голявкину. Тот говорит:

– А, здравствуй, рад тебя видеть.

Затем вынимает из тайника маленькую.

Битов раскрывает портфель и тоже достает маленькую.

Голявкин молча прячет свою обратно в тайник.

● ● ●

Один глубочайший старик рассказывал мне такую поучительную историю:

“Было мне лет двадцать. И познакомился я с одной начинающей актрисой. Звали эту женщину Нинель. Я увлекся. Был роман. Мы ходили в кинематограф. Катались на лодке. Однако так и не поженились. И остался я вольным, как птица.

Проходит двадцать лет. Раздается телефонный звонок. “Вы меня не узнаете? Я Нинель. Моя дочь поступает в театральный институт. Не могли бы вы, известный режиссер, ее проконсультировать?” Я говорю: “Заходите”.

И вот она приходит. Страшно постаревшая. Гляжу и думаю: как хорошо, что мы не поженились! Она — старуха. Я все еще молод. А рядом — юная очаровательная дочь по имени Эстер.

Мы посидели, выпили чаю. Я назначил время для консультации.

Мы встретились, позанимались. Я увлекся. Был роман. Мы ходили в кинематограф. Катались на лодке. Однако так и не поженились. И остался я вольным, как птица.

Проходит двадцать лет. Раздается телефонный звонок. "Вы меня не узнаете? Я Эстер. Моя дочь поступает в театральный институт. Не могли бы вы, известный режиссер, ее проконсультировать?" Я говорю: "Заходите".

И вот она приходит. Страшно постаревшая. Гляжу и думаю: как хорошо, что мы не поженились! Она — старуха. Я все еще молод. А рядом — юная очаровательная дочь по имени Юдифь.

Мы посидели, выпили чаю. Я назначил время для консультации.

Мы встретились, позанимались. Я увлекся. Был роман. Мы ходили в кинематограф. Она катала меня на лодке. Однако так мы и не поженились. И остался я, — закончил старик, глухо кашляя, — вольным, как птица".



Вышел из печати том статей Наврозова. Открываю первую страницу:

"Пердисловие".

Бывают же такие опечатки!



Молодого Шемякина выпустили из психиатрической клиники. Миша шел домой и повстречал вдруг собственного отца. Отец и мать его были в разводе.

Полковник в отставке спрашивает:

— Откуда ты, сын, и куда?

— Домой, — отвечает Миша, — из психиатрической клиники.

Полковник сказал:

— Молодец!

И добавил:

— Где только мы, Шемякины, не побывали! И в бою, и в пиру, и в сумасшедшем доме!



Рассуждения Гессе о Достоевском. Гессе считает, что все

темное, бессознательное, неразборчивое и хаотическое — это Азия. Наоборот, самосознание, культура, ответственность, ясное разделение дозволенного и запрещенного — это Европа. Короче, бессознательное — это Азия, зло. А все сознательное — Европа и благо.

Гессе был наивным человеком прошлого столетия. Ему и в голову не приходило, что зло может быть абсолютно сознательным. И даже — принципиальным.



Одного моего знакомого привлекли к суду. Вменялась ему антисоветская пропаганда. Следователь задает ему вопросы:

— Знаете ли вы некоего Чумака Бориса Александровича?

— Знаю.

— Имел ли некий Чумак Борис Александрович доступ к множительному устройству "Эра".

— Имел.

— Отпечатал ли он на "Эре" сто копий "Всеобщей декларации прав человека"?

— Отпечатал.

— Передал ли он эти сто копий "Декларации" вам, Михаил Ильич?

— Передал.

Следователь встал и быстро произнес:

— А теперь скажите откровенно, Михаил Ильич. Написали-то эту "Декларацию", конечно, вы сами? Не так ли?!



Я уверен, не случайно дерьмо и шоколад примерно одинакового цвета. Тут явно какой-то многозначительный намек. Что-нибудь относительно единства противоположностей.



— Какой у него телефон?

— Не помню.

— Ну хотя бы приблизительно?



Когда выяснилось, что опухоль моя — не злокачественная, Лена сказала:

“Рак пятится назад...”



Всякая литературная материя делится на три сферы:

1. То, что автор хотел выразить.
2. То, что он сумел выразить.
3. То, что он выразил, сам этого не желая.

Третья сфера — наиболее интересная. У Генри Миллера, например, самое захватывающее — драматический, выстраданный оптимизм.



Горбачев побывал на спектакле Марка Захарова. Поздно вечером звонит режиссеру:

— Поздравляю! Спектакль отличный! Это — пердуха!

Захаров несколько смутился и думает:

“Может, у номенклатуры такой грубоватый жаргон? Если им что-то нравится, они говорят: “Пердуха! Настоящая пердуха!”

А Горбачев твердит свое:

— Пердуха! Пердуха!

Наконец Захаров сообразил: “Пир духа!” Вот что подразумевал генеральный секретарь.



Сцена в больнице. Меня везут на процедуру. На груди у меня лежит том Достоевского. Мне только что принесла его Нина Аловерт. Врач-американец спрашивает:

— Что это за книга?

— Достоевский.

— “Идиот”?

— Нет, “Подросток”.

— Таков обычай? — интересуется врач.

— Да, — говорю, — таков обычай. Русские писатели умирают с томом Достоевского на груди.

Американец спрашивает:

— Ноу Байбл? (Не Библия?)

— Нет, — говорю, — именно том Достоевского.
Американец посмотрел на меня с интересом.



К нам зачастили советские гости. Иногда — не очень близкие знакомые. В том числе и малосимпатичные. Все это стало мне надоедать. Мама бодро посоветовала:

— Объясни им — мать при смерти.

Лена возражала:

— В этом случае они тем более заедут — попрощаться.



Грузин в нашем районе торгует шашлыками. Женщина обиженно спрашивает:

— Отчего вы дали этому господину хороший шашлык, а мне — плохой?!

Грузин молчит.

— Я спрашиваю, отчего вы дали этому господину хороший шашлык, а мне — плохой?!

Грузин молчит.

Женщина опять:

— Я спрашиваю... И так далее.

Грузин встает. Воздевает руки к небу. Звонко хлопает себя по лысине и отвечает:

— Потому что он мне нр-р-равится...



Заговорили мы в одной эмигрантской компании про наших детей. Кто-то сказал:

— Наши дети становятся американцами. Они не читают порусски. Это ужасно. Они не читают Достоевского. Как они смогут жить без Достоевского?

И все закричали:

— Как они смогут жить без Достоевского?!

На что художник Бахчанян заметил:

— Пушкин жил, и ничего.



Бахчанян:

“Гласность вопиющего в пустыне”.



Была такая на шумевшая история. Эмигрант купил пятиэтажный дом. Дал объявление, что сдаются квартиры. Желающих не оказалось. В результате хозяин застраховал этот дом и поджег.

Бахчанян по этому случаю высказался:
"Когда дом не сдается, его уничтожают!"



Братьев Шапиро пригласили на ужин ветхозаветные армянские соседи. Все было очень чинно. Разговоры по большей части шли о величии армянской нации. О драматической истории армянского народа. Наконец хозяйка спросила:

— Не желаете ли по чашечке кофе?

Соломон Шапиро, желая быть изысканным, уточнил:

— Кофе по-турецки?

У хозяев вытянулись физиономии.



Нью-Йорк. Магазин западногерманского кухонного и бытового оборудования. Продавщица с заметным немецким акцентом говорит моему другу Изе Шапиро:

— Рекомендую вот эти "гэс овенс". (Газовые печки). В Мюнхене производятся отличные газовые печи.

Изя Шапиро с невеселой улыбкой отозвался:

— Знаю, слышал...



Приехал из Германии Войнович. Поселился в гостинице на Бродвее. Понадобилось ему сделать копии. Зашли они с женой в специальную контору. Протянули копировщику несколько страниц. Тот спрашивает:

— Ван оф ич? (Каждую по одной?)

Войнович говорит жене:

— Ирка, ты слышала? Он спросил — "Войнович?" Он меня узнал! Ты представляешь? Вот это популярность!



Игорь Померанцев

ПАМЯТИ ПОЛЯЧИШКИ

Все кончается словом. Любование аристократизмом, стариной — это филологическое любование. Представляю реальную мерзость. Их титулы вызывали ярость, ибо значили не слова, а поступки. С каким упоением произносились отвоеванные “гражданин”, “камарад”! Даже месяцы переименованы, чтобы духу от чванства не осталось. Месяцы не виноваты, что их произносили кичливые уста и выводили шипящие перья.

А ныне? Какая радость, что на самом деле, не в стихотворении и не в переводном романе можно обратиться к кому-то “сэр”, “милорд”, а если повезет — “графиня”. Она не подозревает, что любят не ее, а прохладную чистоту титула. А если очень повезет, то губы станут устами и во дворце вымолвят “Ваше Величество”.

Да простит мне его Преосвященство, но напоследок признаюсь. В скромном палаццо под Вероной ради красного-прекрасного словца я сказал: “Графиня, согрешим?”. Разве моя вина в том, что она не поняла романтического порыва, филологической страсти?

Называется, педофоб. Заискиваю, просто жопу лижу. Лина сердится. Всегда боялся похорон. Недавно опять откупился, а теперь еще и укатил. Умер друг матери, “полячишка”, пан Юзеф. По-здешнему “бой-френд”: язык не поворачивается перевести прямо. Я поехал с матерью в Излингтон, на север Лондона, в похоронное бюро, оно же часовная. Без меня мать нешла бы. Трупы там выставляют в лучшем виде. В гробу под орех. Мать сама выбрала костюм для пана Юзефа. Чуть в обмо-

рок не упала от анатомической парфюмерии. Встретилась с глазу на... Не знаю. Мертвый рыбий глаз. Но пан даже не родич, строго говоря. А я хочу, чтобы все чин-чином было. Пусть подванивает: от музыки, цветов, меня. Пусть одиноко будет. Как в стихах вымерших парижских эмигрантов. Вроде и люди сошлись, и не мало. Но то ли воздух, то ли люди как щепки. Одни зазоры да цезуры. И чтобы возле гроба непременно плелся пентюх. Вот и подкупаю, подлизываюсь.

Эротический рефлекс на велосипедный звонок. Орленок и Ласточка. Крыло-в-крыло. Небеса грешны. Отсутствие рамы предполагает. Путешествие на дамском велосипеде — смена пола. Мой новый пол называется "Триумф". На велосипеде такой марки не сломать себе шею просто безвкусно.

Крикливость. Сентиментальный надрыв. Ну, и назиданье. Как он выдерживает? И все время выводы. Генерал генерализаций... А он терпит. Да я б такого папашу... Лишь страх, что терпению его придет конец удерживает от признания: кричу и сентиментальничаю, потому что диктую завещание. Тороплюсь, срываюсь. Чтоб услышал. Может, оттого, что у меня мало денег? Были бы, завещал бы их.

В провинциальной винерии столик на цыплячьих ножках. Пустые бокалы. На вопрос "ваш любимый цвет?" ответ давно найден: "бутылочный". Бильярд пустых бокалов. Здесь ночевало "Бардолино". Его подонки. Зеленоватый намек. Топь объятий. Болото лобзаний. Хронотоп в виноделии. Вот это тема!

За неделю до этого досадного случая мать привела пана Юзефа в больницу. Все от него отбояривались: участковый, хирург, что ноги ему искромсал. Пан Юзеф до того англоязычился, что уже не жаловался. Гангрена-шмагрена, лишь бы был здоров. Ему велели уходить, и они пошли. В протестантской больнице не поскандалишь. Он рухнул плашмя на цементный пол приемного покоя. На глазах протестантов. И тут уж мать не выдержала и завывала по-тарабарски. Да где же ваша совесть? Гнали, а он умер! Караул! Грабят! И как же она верезжала, до чего не по-местному. Кино, да и только.

Жилось им хорошо в неприемном непокое. Понимали друг друга через пень колоду. Стоило матери раскричаться, как

полячишка напрочь переставал понимать. Слов “сволочь”, “мерзавец” не знал, потому обидеть его было трудно. С пентюхом про футбол говорили. Он баловался у букмекера. За месяц до смерти просадил тысячу с лишним фунтов. Ей-богу, лучше б матери оставил. Я ревновал. Про протестантский футбол толком не знаю. А они как сойдутся, так Манчестер Юнайтед, Селтик-Келтик. Что твои попугаи.

Упал не нарочно. После хвастался, чтоб привлечь внимание: катаюсь на велосипеде. Обстрекался в асфальте: локоть, колено. На локте рой пчел. Кричу в телефон: упал, бичиклетта, жжет. Вот это настоящий поступок. Пентюх снова любит меня!

— У нас замок и собор. Собор и замок. А у вас?

О, Господи, как совершенны уста ее.

— Светское и спиритуальное. Наш конфликт креативен. А ваш?

У меня конфликт с локтем. С пчелами на колене. Еще минут десять, от силы пятнадцать, и графиня испугнет их рой, а я соберу мужество, чтоб не возопить.

Если бы он не был узколобым католиком, то мог бы стать моим отчимом. Он был в гражданском разводе, но только смерть позволила жениться на матери. Мотив отчима мог бы стать моим любимым. Отцы есть. Больше, чем нужно. У гениального идиота Андрея Белого отец прямо из ушей прет. У застенчивого античника Сергея Аверинцева любовь к отцу выражена опосредованно: через любовь к мертвым языкам, чтоб не сказать более. Вряд ли много потерял, не став любимым мотивом. Пусть остается паном Юзефом, старшим портье привокзальной гостиницы “Юстон”. Там он был “Джозеф”.

Беременные видят беременных. В дыре под Вероной забрел на пустырь. Глухая стена, оштукатуренная цедрой. Горчичник на память. На стене табличка: “Пьяцца Полония”. Вот бы пан Юзеф обрадовался!

Караул? Почему нет: жизнь забрать — это ведь тоже грабеж. Больше мать не кричала. Стоило пану Юзефу упасть, как тотчас появились санитары, фельдшера. В палату внесли в кислородном наморднике. Соорудили капельницу. Сердце рисова-

ло график на экране. Все мы художники. В ту ночь мать ночевала у нас. Такой крохотной стала, что даже диван не раздвинули. Про такое лучше японским танка:

Я в шутку
Мать на плечи посадил,
Но так была она легка,
Что я не мог без слез
И трех шагов пройти!

Это тени слов, и про тени людей лучше всего так. В протестантском мире плакать неприлично. Ну и хорошо. Разве мать белуга? Повезло, что пан Юзеф в этой стране умер. Вот такой клок шерсти у нас.

После операции он трое суток бредил. Три дня и три ночи под гармошку плясал краковяк с девчатами. И хоть бы хны. Другой старик, киевский художник, когда-то исписал высокие стены лечсанупровского сада ягодицами, бедрами, грудями. Плоды старческой фантазии смущали партийцев. Жена не знала, куда деться. Хоть передач не носи. Пан Юзеф, наверное, плясал с этими самыми киевскими девчатами.

У Махна по самы плечи волосня густая. Осенний лес заволосател. Замечают ли романтики, как они неприличны? Вилла подступает к горлу. Цирюльника! Брадобрея! Ладно, пусть. Виноградины капают прямо в рот. Графиня, спасите. Прикройте.

Мать, когда уесть хотела, обзывала "шляхтой". Для пана Юзефа это было повышением в должности. Любил это оскорбление. Трах тебя-шлях! Шлях тебя!

Знал он языков шесть. Благодаря ему я вдруг понял, как провинциален культ знания языков. Да любой швейцарский пастих тебя на трех языках выматюгает.

По национальному вопросу свар у нас не было. Он помалкивал. И напрасно. Я бы только масла подлил. Что с простолюдина возьмешь, коли баре с душком. Полистайте их книжечки. Если не про французишек с немчурой, то про хитрых хохлов. Обидное "пиздюк" из той же Наталки-полтавки. Или про спесивых ляхов. А если не про ляхов, то при жидовню с их жидочками. Свейте словарное гнездышко из слов с корнем "жид". Выстройте

словарный ряд. Вот тебе великий, вот тебе могучий. У кого длинней? Ну разве что у хохлов... Само по себе это и не плохо. Даже напротив. Я за правду. Но брешут же! Мизантропа из мизантропов, что нос свой насмерть задрочил, определили в гуманисты. А чемпион мира по эгоизму — тоже, к слову, граф — объявил себя учителем жизни. И что же? Поверили! Другой, с криминальными наклонностями, блатная шерсть, выбился в христианские моралисты. Фактотум человеколюбия с бритвой между пальцами. Ну, брехуны. Нет, напрасно, вы, пан Юзеф, робели.

В трактире "Альпийская колыба", с оперенной шляпой на вывеске, кугутское завывание во здравие жениха и невесты. Славная суббота. Примите меня, бадыки! Не побрезгуйте.

Ну, а что Лина? А то графиня, графиня. Стеклодув нашелся. Да нажралась, как свинья. Мол, приступ отчаянья, не выдержу, спасите. Знаем, чем ее спасать. Ну и пусть. Сколько той жизни? Пан Юзеф только порадовался бы. Они часто вдвоем вмазывали. Мать даже ревновала. До сих пор дрыхнет. А пентюх? Ага, кличет на ночной поцелуй. Я-то рад стараться. Упоительный мотив.

Долго ли, коротко ли, но добрался на "Триумфе" до городишка Соаве. Того самого, где знают толк в вине. В дороге снова упал. Бог знает, зачем. Велосипеда не разбил, а локоть, тот самый, еще не заживший, окровавил. Вином белым продезинфицировал. Здесь же и замок, кастелло. Права графиня: в каждой порядочной стране своя Кастилия. Когда в шахматы играем, пентюх в панике ладью по-английски называет "касл", замок значит.

Стояла сиеста. В виноводочном ангаре под сенью ультра-современных цистерн с градусниками на пузе стояли на столе початые бутылки. Одна просветленной другой. Эскалация духовности. Завершалось граппой. И ни души. Я ополснул бокал. Зачем? Святы уста касались. В конце концов откуда-то из прошлого века выплыл истинно итальянский целовальник. История завершалась. Я должен был умереть, но медлил: жалел мать. Смерть достойно увенчала бы достижение цели жизни. Пэр фаворэ, Соаве Классико. Трэ ботилье. Модернист жаждал классики. Буквально алкал. Эти три бутылки — вместо свечей в излингтонском костеле — я посвящаю, пан Юзеф, вам.

Д. Добродеев

ДВА КОНЦА (рассказы)

РЫБЬЕ ЦАРСТВО

...

Темным октябрьским вечером вышел мальчонка прогуляться. Моросило. То ли в Питере это было, то ли в Берлине, то ли в Праге. Кто знает. Скорее всего, в Варшаве. Где-то в конце 1913 года. Тяга к открытиям еще жила в умах наивной молодежи.

...

В этот день естествоиспытатель Стасик Печиньский немало поработал. Над проблемой зарождения жизни в море. Выхода на сушу первых землепроходцев. Новая теория эволюции предстала перед ним. Подстегнутые волей высших сил, рыбы сменили воду на сушу и плавники на ноги. Эх-ма! Он вышел, сломав в сердцах карандаш.

...

На столе остались ряды чисел, контуры хрящиков и плавничков, а также громадный вопросительный знак.

...

На узкой улочке, под фонарем, стояла дама. Стройная, в вуалетке, с папиросой. Демонстративно нагнулась и поправила чулок: "Мальш, ты слышал что-нибудь о тайне Ганки Канторович?"

...

Они поднялись по скрипучей лестнице.

...

В мансарде было тесно, но уютно. Сохранялась утварь старой Европы: перина, таз с водой и вышитое полотенце. Печиньский

примостился на кровати, продолжая навязчивую мысль: “Передовой отряд взломщиков среды — кистеперые рыбки-малютки, выкинутые на берег моря разбушевавшейся стихией”.

...

Пока студент писал, дама раздевалась. Сняла шапку, вуалетку, тяжелое черное платье. Подушилась сладковатыми духами. Маленький такой, воробушек, сидел перед ней Стасик и строчил несуразное. Худые лопатки его вздрагивали в ритм мысли. “Подвижники моря, — писал он, — стали пионерами суши”. В Ганке проснулось материнское чувство.

...

Она села рядом с ним и поцеловала воробьиную шею. Дыхание Стасика приостановилось. Обильные, сладкие соки заполнили жгутики и пазы. Нечто растопилось и взорвалось.

...

В прорыв устремились батальоны малых рыб. В клубах дыма, в разрывах снарядов завертели колеса боевых колесниц. Каждый стремился взять и закрепиться. Проворный ерш вскочил на корягу и крикнул: “Все! Забито!” Потом торжествующе огляделся.

...

И точно, было на что смотреть. Блистательная полоса приборя. Кверху брюхом валялись аморфные тела неудачников. Остальных уволокло вспять пенистым морем. Теплые пары сгустились над ними.

...

Так, в живительной атмосфере палеозоя, на тонкой кромке земли и моря совершился выход в воздушное пространство.

...

ДВА КОНЦА

Было это в годы мнимой либерализации в Москве, в конце 70-х. Малоизвестный критик Петр Маркович открыл литкурсы для современной молодежи. Сброд в его квартирке набился изрядный: человек десять, все люди неопределенных профессий. Болтали, курили, ерзали ботинками по паласу. — Ша! — сказал Петр Маркович, — беседа началась! Кого вы цените в сегодняшней нашей литературе? — Наступило неподдельное мол-

чание. — А кто из вас пописывает на досуге? — Гости замялись. — Тогда внимайте! Дело в том, что современный писатель пишет плохо. Большею частью романы в третьем лице, эдакая прозодия в духе Толстого. Он боится писать от своего "Я", боится стать самим собой. Все о ком-то да о ком-то. Ну а теперь — представьте: история без липы, изложенная неким центром истории. На пол-страницы!

— А для примера, — сказал Петр Маркович, — вот вам отрывок. Рим, I-й век нашей эры...

...5-го августа 53-го года я направлялся в гостеприимный дом моего дяди Паулина. Вечерело. Настроение было прескверное. Солнце склонялось над Палатинским холмом. В его лучах возник передо мной распятый раб. Он был еще жив, но находился, видимо, в предсмертной стадии своих мучений. — Ты помнишь меня, Иберий? — обратился я к нему. — Как мы играли золотыми рыбками в бассейне дяди Паулина? — Он ничего не ответил, да и мне добавить было нечего.

В тот вечер Паулин угощал друзей: кабанина, мед, гигантские мурены. Рабы бесшумно сновали вокруг. — Что такое жизнь, Кафардиус? — обратился ко мне Паулин. — Это особая форма смерти, — ответил я ему: я не был, я есмь, я не буду. Развязка ждет нас повсюду: на скотном дворе и на capitoлийском холме, на рабском кресте и на собственном пиру... Паулин загадочно улыбнулся и хлопнул в ладоши. Нубийцы тотчас принесли нам блюдо, на котором среди орехов и фиников лежали золотые рыбки бедного Иберия. — Это урок тебе, как мало стоит наша детская память, — сказал дядя и осушил кубок до дна.

— Вот так, ребята, — Петр Маркович виновато улыбнулся, — а теперь кто из вас?

— Можно я? — пробасил парень с заднего ряда. Он вышел, комкая листок. Это был хмурый лифтер Федя, читавший по вечерам самиздат. Из-под нависших косм сверкали черные глаза. Он прокашлялся и начал:

Проснулся я, зна, в хре на. Семь на пять и пять на сто. Лё, слы мя? Там, гля, краснуху выкинули к первомá.

Леха проснулся, и мы пошли. Там, зна, народу до петуха, а краснухи, зна, три ящика.

— Айда, говорю я Лехе, на за-двор. Там, зна, дядя Ваня товар принима. Но там уж была вся кампа: завмаг, начсоб и

сержант Калинин. Второй ящ стоял в стороне. Я зна небрежно та подошел и сунул краснуху в карма. Леха тож. И ринулись мы по крышам грохоча. — Сука, брось, — неслось сза. За нами гналась свора диких алкоголиков во главе с сержантом Калининковым. Грянул выстрел. Леха свалился прям в кадку с кислой капустой. А я, зна, продолжил героический рейд по тылам противника, с краснухой в кармане и значком отличника на ватном пиджаке.

— Вот видите, ребята, — Петр Маркович постучал по столу, — тише! Так вот: кое-кто из вас пишет своим, совсем особым стилем. Можно даже ска...

Но тут в дверь стали ломиться. Взяли всех. Последним уводили Петра Марковича. Следы его пропали в столице. Но говорят, что где-то на дальнем Севере читает он неплохие лекции соседям по нарам. Хмурый лифтер стал позже известным писателем нон-конформистом и после пятилетней схватки с властями уехал на Запад.

БРАТИШКА

Когда могилу бойца Маривухи забросали землей, на рыхлые комья взобрался матрос Перемайло. Он потрянул чубом и поднял маузер:

Братцы! На дворе — 19-й год. Все выше и выше. Все шире и шире. Вздывается смерч. Мировой революции. Той, что сметет. Всевозможные устройства, механизмы эксплуатации. Государства, церкви, правительства. Не за горами, братцы, великая вольница людская.

Эй, спящее быдло 20 века! Проснешься ли наконец к свободе? Страхнешь ли тиски машины принужденья?

— Ну это вы, товарищ Перемайло, с быдлом загнули, — сказал ему, поблескивая очками, стоявший в отдалении комиссар, — и государства у нас еще никто не отменял. Читайте классиков.

— Что еще за классики? Прудон, Кропоткин?

— Маркс и Ленин. И будьте добры, подчиняйтесь ревдисциплине.

— Что за дисциплина така?

— Боевая и трудовая, товарищ Перемайло.

— Бык свинье не товарищ!
— Сдать оружие!
— А кто ты такой, шоб мне приказывать?
— Я из Центра!
— У революции нет Центра.
— Вот мандат!
— Я тебе мандатом шмазь сотворю!
— А я вас под трибунал!
— Ах ты вошь подноготная! Ребята! Да здравствуют советы без коммунистов! Амба!

Перемайло закусил ленточки, дал комиссару в зубы, махнул через забор и был таков. Путь его лежал: через осечку бунта, через леса и болота, в Гуляй-поле, к Нестору Ивановичу Махно.

Ну а нам, оставшимся, подумалось: Нехай с ним, пускай комиссар робит, что Центр велит. Что с ней, со свободой-то делать? Сыт не будешь, а в... влипнешь. И пошли мы рубать белую нечисть.

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ПОРУЧИКА ЕРЕМИНА

В октябре 1919 года поручик Еремин сменил шинель на драповое пальто и окольными путями прибыл в Москву, скоро как два года занятую большевиками. В денкинском штабе дали ему пакет, чтобы передать лично полковнику Елдасову, руководителю подпольной группы "Благовест". — Ну, мил друг, — сказал ему казачий генерал Лапардин, — кланяйся от нас белокаменной! Скажи, скоро будем! — и прижался к Еремину рыжей бородой.

Поручику было 27 лет. Сух, подтянут, и уже сед. Надел он пальто до пят, шляпу, пенсне и стал похож — на Чехова. Уездный учитель из тех, что странствуют без счета по разоренным просторам России.

День был холодный и тусклый, хрустела неметеная листва, когда он вылез из поезда "Борисвысоцк — Москва" на Курском вокзале. — Странно, однако же, Москва, — он закурил, поправил котомку, огляделся. Подъехал извозчик, на козлах — девка, веселая, розовощекая: "Куда довезть прикажете?" — Сретенский бульвар. — Будь сделано. Еремин сел в коляску.

Девушка пригладила красную косынку, заправски чмокнула, хлестнула старого коня. — Я — Марья Логовая, смелая девчонка! — представилась она. — А вообще — Марья-наездница кличут меня. Поехали!

Ну, поехали. Еремин вглядывался жадно и будто во сне. Вот оно, с детства знакомое. Каланчовская башня, Красные Ворота, Разгуляй. Людей мало, ворохи листьев и бумаг, повсюду наклеены воззвания. Да, первопрестольная... что это? Вспомнил Плутарха: чума в Афинах. Запахло горелым: жгли листву.

— Издалека-ль? — осклабилась девка.

— Из Борисвысоцка.

— Надолго?

— Так.

— Чего-ж невеселые такие?

— Такой уж уродился.

— А зря. Сейчас — веселое время.

— Да?

— Ну. Смотри, уж скоро контре всыпем.

— Гм.

— А ты, случайно, не из бывших?

— Учитель я.

— Учитель... ну, тогда учи. А галоши у тебя хорошие.

— Ничего.

— Мы тут на днях галоши у буржуев изымали. Набрали, понимаешь, галош. Ну куда им столько?

— Не знаю.

— А я знаю. Нам сегодня на собрании сказали.

— Что сказали?

— Сказали!

— Мне, пожалуй, пора. Дальше сам дойду.

Еремин слез, поежился. На театральной тумбе был наклеен плакат: "Красной метлой всю нечисть — вон! Таков непреложный истории закон". Поднял воротник, обогнул тумбу, вошел в подворотню. Он узнал этот дом: Колокольный переулок, № 5. Поднялся по черной лестнице, позвонил. Звонок не работал. Постучал.

— Кто там?

— Свои. Кирилл и Глеб.

Открыла. Ужасно грустные глаза.

— Я...

— Пройдите.

Прошел. Квартира, каких он знал немало. Дух солидный, профессорский. Статуэтки, полки, книги.

— Не узнаете?

— Почему же...

— Генриэтта Николавна, сколько лет прошло с тех пор?

— Пять, или шесть.

— У нас был кратковременный амур, не правда ли? На квартире у вашего отца собирался спиритический кружок. Мы обсуждали: перспективы загробной жизни, законы кармы, воздаяния... и вот, все это пришлось познать здесь, на этой земле, на своей шкуре. Извините за выражение.

— Петр Дмитриевич, вы надолго?

— На сутки. Вы можете сказать обо мне полковнику?

— Да. Вы посидите, я через час.

Когда она ушла, Еремин потянулся, хрустнул пальцами, посмотрел в окно: хвоста, вроде, нет.

Прошелся по комнатам. Много книг, но к чему они здесь? Наверняка все будет пущено в печку. Зевнул, потрогал корешки: "Жизнь после жизни", "Атлантис и Лемурия", "Порог духовного мира". И — "Люди как маски". Петербург, 1915, издательство Мейерсона. А это что? — поручик вытащил тощую книжечку: "Римские элегии", П.А. Рапт-Юговский. Сколько же у нас дешевки было! Раскрыл: "Вилла Квазио".

Вилла Квазио

Когда чума 1656 года
Опустошила Неаполь,
Много прекрасных особняков
Осталось просто так.
Маэстро Анастасио ехал вечером
Куда глаза глядят.
Увидел виллу Квазио
И обомлел:
Дом был пуст, золотист,
В лучах заходящего солнца
Глух и нем.
Плющ обвивал сквозные галереи.
Кузина Флора здесь играла,
Юная краса.
Теперь же вся семья навеки залегла
В семейном склепе.

— Что вы читаете, Петр Дмитриевич? — Она вошла незаметно.

— Да вот какого-то Рапт-Юговского нашел. Странный поэт. Какие новости?

— Сегодня вечером. Велено из дома не выходить.

— Да. Так лучше.

— Вы голодны?

— Нет-нет. А вы — возьмите в котомке: немного хлеба, сала. Мне не нужно.

— Вам постелить?

— Позже. Знаете, я хотел бы еще чего-нибудь Рапт-Юговского.

— Сейчас, Петр Дмитриевич, я поищу. Подвиньте, пожалуйста, стремянку!

— Странно, — продолжила она, — отсюда, сверху, я вижу московские улицы в новой перспективе. Октябрьский день, как будто ничего не изменилось... ах, я шатаюсь... подержите стремянку!

— Милая, милая Синьорита Николавна, — и, встав на цыпочки, он поцеловал ее подол.

Печальное головокруженье, память чувств, они не удержались и прилегли на оттоманке, не в силах.

— Вы знаете...

— Да.

— Я же...

— И все же... людская грубость. Месяц назад сюда ворвались матросы и здесь, в кабинете отца, надругались надо мной...

— Ну что вы, что вы, Синьорита Николавна, — приговаривал он, держа ее за тонкий круп, — ну как вы, что вы...

Та всхлипывала, теребила крестик.

Весь остаток дня они лежали и вспоминали: Москву веселую и грустную, жизнь ушедшую. Чаепития, разговоры, надежды. Масленицу, пасху, святцы... что было и что уж не вернешь.

Время подошло незаметно. В шесть вечера Еремин встал, поцеловал Генриетту Николаевну и начал приводить себя в форму. В шесть тридцать в дверь постучали. Еремин вздрогнул. Это был он, изменившийся, поседевший полковник Елдасов. Некогда жуир и картежник, он спал с лица, нос заострился. В нелепом тулупе, без усов, он работал, очевидно, под дворника.

— Здравствуйте, милостисдарь, — молвил он и, подойдя к Еремину, заглянул ему в глаза, — какими судьбами в нашем злосчастном царстве?

— Вызвался добровольно.

— Ну и... надолго?

— На одни сутки. Вот вам пакет.

— Спасибо. А вот вам, свеженькое. Передайте генералу Деникину лично.

— Что это? Извините, мне велено запомнить.

— Телеграмма Ленина в РСФСР. От 22 октября. Читайте!

— Покончить с Деникиным (именно покончить — добить) нам *дьявольски* важно. Надо кончить с Деникиным *скоро*; тогда мы повернем все против Юденича. Пора окончательно раздавить так называемых добровольцев — помещичьих сынков, наемных бандитов и другую сволочь.

— Вы поняли, поручик?

— Все понял.

— И ваше впечатление?

— Впечатление есть.

— А Москва?

— Да.

— Оно, впрочем, естественно. Тут и слепой увидит, и немой заговорит.

— Я чувствовал заранее, но...

— Не надо чувствовать заранее, не надо предполагать. Слов не надо. Надо просто быть. И тогда откроются перед вами... эх, ну да что там.

— Полковник... Анатолий Михалыч, пойдете со мной! Вам здесь нельзя оставаться.

— Можно, еще как можно.

— Можно, — резюмировал полковник Елдасов, — ибо не так все страшно. Главное — правильно видеть. Западник — он видит мир-схему, мир-объект. Но русский — он видит мир, с которым совладать нельзя: мир-крест. Чего ж тут?

Вот почему мы говорим о могучем дыхании космоса на просторах глубинной России.

Кто это познал, тот полюбил эту землю за великую... как это сказать, святости и безобразия.

Хватит об этом! Никуда я не пойду! Я провел в Париже

пол-войны, я понял, я лучше сгину здесь, чем сосать аперитив на Монмартре.

— Полковник, вы, вы, вы... — Еремин задохнулся от внезапного и выглянул в окно перевести дух: две одинокие собаки бегали по двору. Октябрьская трава торчала здесь и там зелеными клочками, и всюду — на брусчатке, на траве и на голой почве лежали светло-желтые листья. Тут же стоял красногвардеец с винтовкой и дышал в ладони.

— Кажись, попались, — слабо улыбнулся Еремин.

В дверь стали ломиться.

— Бегите, поручик! — полковник поднатужился, припер дверь. — Не забудь пакет! — Раздался выстрел. — Туловище ты неприкаянное, туловище мое, — охнул полковник, держась за бок.

— Убрать контру! — сказал вошедший комиссар Оглобиньш — громадный, лысый, в кожаном реглане.

Еремин уже был далеко: выскочив в окно, он скакал по крышам. Московские кровли издавали скрежещущий звук.

С крыши дома №5 он видел город: приземистый, пустынный. Фронтоны, тени, дома доходные. Последний благовест, конец иллюзий. Прощай, Москва! П.Д. Еремин залез в чердачное окно, пробрался через рухлядь, бросил по пути пакет, по черной лестнице спустился вниз, и здесь его уже ждали.

— Ну что, дружок, долго от нас петлять будешь? — улыбнулся Оглобиньш, играя револьвером. Со связанными руками Еремин был отведен в ближайшее отделение Чека. Допрос был короткий.

— Офицер?

— Офицер.

— Против советской власти?

— Да не то чтобы за.

— Сотрудничать с нами будете?

— Наверяд ли.

— Все ясно. Распишитесь. Приговор будет приведен в исполнение.

— Когда?

— Завтра утром.

— Спасибо. Один вопрос.

— Говорите.

— Впрочем, нет. И так все ясно, — в графе "поняты", он вспомнил, стояло четко: М. Логовая.

— Ну, если вопросов нет, то попрошу в камеру. Боец Махрютин!

Боец Махрютин, он же неунывающий солдат-Егор, проводил поручика в камеру и запер за ним дверь. Подвал был глух и темен. В доброе старое время купец Томазин держал здесь доски и прочий пилматериал.

Набралось их здесь человек пять. Взятых при различных обстоятельствах. Женщина в вуалетке, блатной матрос и кто-то непонятный. Веселый разговор. Сосед Еремина был маленький старик с курчавой бородой и в широкополой шляпе.

— Симеон Христофорыч, — представился он. — А вас как величать?

— Господин Никак.

— Очень хорошо.

— Чего ж хорошего?

— Что хоть в этой ситуации осознали вы свою исконную анонимность. Осторожно, не задуйте свечу.

— Огонь сей свечи, — сказал он погодя, — подобен свету души. Мерцает она во мраке. Но вот — дунь, и нет ее.

— О чем это вы?

— Выпорхнет душа твоя из тяжелой телесной оболочки, оставит сей кровавый мир, и, махнув на прощание крылышками, улетит в царство божие, где всем мученикам за веру место полагается.

— В рай, что ли?

— В рай, вестимо.

— Ну, не знаю, Симеон Христофорыч. Война, победа большевизма, гибель России — все это ставит очень много вопросов. В том числе и о возможности существования Бога.

— Ставит-ставит, а ты не ставь! Оттого что ставишь, оттого и не видишь! Мы все ставили, и прогадали Россию. Теперь чего ж? О новом спасении молиться надо.

— Господа! — подал голос матрос-анархист Пичуга. — Нечего рассуждать. Чего нет, того нет. Безграничный хаос ожидает всех нас, мы станем первоэлементы: распад и тлен. Но понемногу, с червя, с личинки, с лярвы, мы дорастаем до зверя и, быть может, до человека.

Раздался звук открываемой двери, солдат-Егор просунул свой рязанский профиль: "Хвать болтать, господа хорошие! На том свете поговорите".

Все замолчали. Ночь была тихая, холодная. Вдали лаяли собаки. Еремин подошел к зарешеченному окошку: нуте-с, каково? Эта ночь, когда обрываются сферы...

Рано утром вывели всех гуськом. Впереди шел, раздавая земные поклоны, Симеон Христофорыч, за ним — матрос Пичуга, сторонник учения батьки, за ним — леди непонятных занятий, за ней — одуловатый инженер Ротфарб, а замыкал процессию поручик лейб-гвардии бесхозного полка Еремин. Висела полная и бледная луна.

Солдат-Егор клацнул затвором:

— А теперь, господа хорошие, к стенке, по порядку, становись!

О чем думалось? Да ни о чем. О старой доброй жизни? Хм... О матушке, сестричке? Так, моментами. Как-то поразительно бездумно было на душе. И ясно было, что начинается непонятное и главное, пожалуй. А что? Как в слова перевести?

Опять подал голос Егор:

— Сымай сапоги, пальто сымай! Ложь сюда вот, аккуратно!

Шуршали листья.

Он взглянул на небо. Все стало на свои места.

Москва.

Мерцание далеких Кассиопей.

15 октября.

Этим же вечером в "Известиях рабочих и крестьянских депутатов" появилась заметка: "Преступный заговор раскрыт и обезврежен".

САРАТОВСКИЕ БУБЛИКИ

■
Конторка-с — Саргорпрокат, на улице Марксистской, крыльцо обледенелое, внутри — большая комната да три перегородки. 24-й год.

■
За первой перегородкой сидит начальник — Прохоров, бритоголовый, в гимнастерке, готовит план работ.

■
За ним — Иван Сергеич М., ответственный по части материальной, он и механик, и слесарь, и выдаст инвентарь.

За третьей перегородкой — Антошина, из бывших, бухгалтерша и машинистка.

Сидят они весь день, почти не говорят. Начальник — мыслями в войне гражданской, Иван Сергеич — что-то проверяет, насвистывает, Антошина — закуталась платком, молчит.

По вечерам они расходятся. В своей клетушки — на улице Лафарга — Антошина разогревает самовар. Варенье, сухари, саратовские бублики.

Антошиной — лет 30. В гражданскую у ней не стало мужа, офицера. Бездетная, еще красивая, она сошлась с Иван Сергеичем, смиренным сослуживцем.

Иван Сергеич — из мещан, но человек приличный, старых нравов. Приходит к ней он, за стол садится, берет гитару и напевает: "ты где, о мать моя родная? Ты где, кормилица моя?"

На стенах — фотографии. Она с мужчиной, Евпатория, 14-й год. Еще — усатый офицер, штабист, в германскую, она — как медсестра.

Сюжет короткий: зимними ночами сидели, говорили. Лишь чай, да бублики, да память.

Потом Иван Сергеич уходил: он надевал полупальто, шел на мороз и исчезал в качающемся свете фонарей.

Она сидела, смотрела на снежинки в окне и вспоминала: В 13-м, счастливом, катались на тройках: в масленицу, с бубенцами. Веселая, румяная, вбегала в дом, крестилась: Господи, как хорошо!

ПЕТРОГРАДСКАЯ ИСТОРИЯ

Юлия Сергеевна, урожденная Рыдкевич, родилась в знатной дворянской семье, в конце 70-х годов 19 века. Отец, поэт и камергер, имел свой дом на Мойке. Здесь она росла, обзавелась

семьей и счастливо жила, пока не наступил Октябрь 17-го.

Отец скончался, мужа расстреляли, дочь умерла от тифа, а все, кто мог, уехал за границу. Дом опустел.

В начале 18-го в дверь постучались: "Пора вам уплотняться, хозяйюшка!" Наехали жильцы и разом заполнили все закоулки дома. Старуха Сергеевна, как стали звать ее, была отселена в каморку для прислуги, и там осела. Семейные фотоальбомы, картины, книги, гобелены, шифоньеры отныне принадлежали жильцам квартиры коммунальной: Сучковым, Тучковым и Лизопатам.

В бывшем Петрограде, а ныне Ленинграде жила она: 20-е и 30-е годы. Украдкой проникала в туалет, по ночам жарила котлеты, учила рабфаковцев французскому языку.

Приходил к ней рабфаковец Антонов. Веселый, молодой, в футболке, он раскрывал тетрадь и начиналось: спряжение неправильных глаголов.

Во время пауз он закуривал папиросу, угощал Сергеевну и говорил: "Вот вкрутим всю контру, до последней гайки, и пойдет полоса: ничем не затемненной жизни".

Сергеевна молчала, улыбалась. Выходила на улицу, озиралась. Перед глазами мелькали: физкультурники, цифры плана и многое другое. Так шло время, пока не настала Отечественная война.

Все сразу насторожились, посуровели. В июле 41-го пошли бомбежки. В сентябре Ленинград был блокирован. В октябре начался голод.

В обстановке смерти и опустошения старуха таинственным образом воспряла. Не выходила на кухню, сидела в каморке и предавалась некой медитации. Ей хватало 150 грамм хлеба.

С началом зимы дом камергера Рыдкевича начал вымирать. Сучковы, Тучковы и Лизопаты один за другим нашли свое место на Пискаревском кладбище. Их вывозили на салазках согбенные родственники, чтобы самим проделать тот же путь неделю спустя.

Наконец, час пробил. 15 марта 1942 года дом был пуст. Стояла гулкая тишина, изредка прерываемая бомбежками.

Старуха на цыпочках вышла в коридор и начала осмотр комнат. Да, многое исчезло, многое загажено, но кое-что осталось.

Она ходила и собирала. По лоскутку, по медальончику, по блюдцу, и все это сносили в комнату, где жили ненавистные Сучковы. Когда-то здесь находилась ее детская.

Через неделю экс-детская напоминала археологический музей. Помимо рухляди, не представляющей художественной ценности, здесь скопилось немало любопытных экспонатов.

Собрав, что только можно, старуха закрылась в комнате и стала жить. Весь 42-й, 43-й и начало 44-го она сидела и жила: среди акварелей Рейхсвальда, среди статуэток Мейсонье, среди японских вееров и китайских вазочек, фотографий Нижинского и Дягилева, изданий Бальмонта и Анненского и многого другого.

Вся европейская культура Петербурга, от Петра Великого до Николая Мученика лежала в этой кунст-камере. И все это она пережила вновь.

В самом конце она перечитала заветное: письма Жуковского бабке Анастасии.

В апреле 44-го в дверь постучали. — Кончилась блокада! — сказал суровый участковый. — Принимай, бабуся, новых гостей!

Старуха удалилась в детскую и там предалась последнему раздумью. Сия ночь была настоящим хит-парадом реликвий. Нутро вошедшие с тюками жильцы нашли ее застывшей в кресле.

Все дивились, как могла она выжить в голодные зимы. А ларчик открывался просто. Еще девчонкой, она играла с кузеном в фанты. Чтобы набрать побольше фантиков, ребята складывали целые конфеты под половицами в каморке для прислуги. За время игр их накопилось там бесчисленное множество: лакриц, карамелек, прочей всячины. Спустя 50 лет они позволили Сергеевне вновь пережить лучшие годы своей жизни.

УРАЛ-ЯГОДА

Стоял август сорок первого. Наш эшелон медленно полз по уральской земле. В узкую щель раздвижных дверей открывался суровый вид: то нависая над самой крышей, то отдаляясь

прочь, плыли горы. Нам, детишкам-псковичам, такое виделось впервые. На тягостных путях эвакуаций.

Но случилось так, что наш состав надолго застрял, пропуская поезда на Запад. Решение было принято враз. И вот уже шуршат под ногами обломки породы. С визгом карабкаемся мы туда, где зеленеет кустарник, маячат деревья. В горы!

Пьянящее дыхание августа прибавляет сил. Оно соткано из запахов сухой иглы, нагрето тканями лесных трав.

Там, наверху, ягод было так много, что мы буквально остолбенели, а потом бросились на землю, набивая рты уже отходящей земляникой, черникой в полном соку, невиданно крупными ягодами костяники и первыми брусничинами, только начинающими идти вкрась.

Уписывали за обе щеки и не замечали времени. Точка.

Казалось, невидимый прошелся здесь и круто посолил все вокруг, не солью, но ягодами. Эко-диво!

Этот ягодный пир сблизил нас с уральской землей, но не смог снять чувства испуга, чего-то от сказки либо сновидения.

Танки и пушки громыхали внизу, в микромасштабе. Проплывали на Запад с зачехленными стволами. Да, было дело...

...Более сорока лет прошло с тех пор. Выиграна война, умер Бригадир, распалось не одно королевство. Остались лишь труха да дело, Маша с Уралмаша да урал-ягода.

Встала я сегодня рано-рано. Валенки обула, платок повязала. Чего-то хлебнула, на завод пошла.

Темно. Фонари болтаются, снег хрустит. То наши идут. На Уралмаш. Пар в воздухе стелется, сотни сигарок светятся. На носу – трубы маячат: родной завод. Ни много ни мало: 1980 год.

Шур-шур, шуршит фреза. Стружка вьется. Еу-бу-бу, – голоса.

Танки выходят ладные, один к одному, в запахе горячей ков-ки-заклепки. Повесили и мне флажок переходячий.

Обед — дзынь-дзынь: щец и рыбки с пюре, на третье — кисель. Послушали лектора — и шмыг на место. Принявшись за вечный клеп-заклеп. Упершись валенками в пол бетонный. Таково.

Внучок, небось, из школы пришел, под хмурым уральским небом кашку съел, а здесь танки выходят, как тогда.

Тогда стоял август сорок первого. Урал-ягода была хороша.

ОТСТОЙНИК

Пробила полночь. На чернильном небосводе выплыла луна и вновь погасла. Мы перепрыгнули через забор и углубились в мертвое пространство. Фонарик освещает путь.

Отстойный парк вагонов, Каланчовка. Вагоны здесь живут своей особой, тайной жизнью. Глядят бойницами очей в глухую жизнь Москвы 70-х. Лишь иногда ночную тишину разрубит пьяный вопль, гудок нездешней электрички. И снова тихо.

С командой наркоманов и ночлежников мы продвигаемся вперед, вдоль бесконечного состава "Москва — Хабаровск"... В купе проводника — пустые склянки из аптеки, посуда с недоеденной закуской, обрывки прессы. В других купе — лежащие вполвалку люди.

"Косых" привел сюда Иван Егоров, экс-проводник. Мы сели, развели тройной одеколон и выпили, заняв рукавом. В компании — три человека: рябая Шура, Вася-мореход и я, без роду-племени.

В купе тепло. Неровный свет огарка, запах парфюмерии, гудение уставших бронхов. Зловещее предчувствие беды. Рябая Шура повела плечом: "Ну что, милоч, перепихнемся?" Я промолчал. Подсел Василий-мореход: "Давай сразимся! В очко".

Пошла игра на жизнь. Его тельняшка взмокла от азарта, он был неистощим на жухальство. Я быстро срезался и был приговорен.

Василий вытащил напильник: "Теперь не дрыгайся, товарищ!" Что было делать? Я рванулся в тамбур: взъерошенные урки сидели на полу, курили анашу: "А ну, попробуй!"

Ища спасения, я начал биться в дверь, рванул по буферам и был вознагражден: вагон, в который я попал, смотрелся много лучше: просторный, вроде зала, обитый розовым плюшем, приятно пахнущий сигарами и коньяком.

Полковник Клычиков застыл над картой: флажки да стрелки. Пунктирная стрела вела к Мукдену, сплошная — к Порт-Артуру. На отрывном календаре — декабрь, 1904-й год.

— Куда направим 5-й полк? — спросил дежурный офицер. — А ну его в Мукден! — А казаков? — На желтый хутор, бабочек ловить! — Все засмеялись: "Уж мы дадим курнуть япошкам, покажем им япону мать!"

Итак, полковник Клычиков над картой. В растворе окон — сопки. Манчжурия. Багровое светило клонится к закату. С низин взлетают тучи гнуса и видно, как по-пластунски движутся японцы.

Нестройными цепями, точно саранча, они тянулись к поезду. Штабной вагон для них стал местом притяженья. Назойливые осы-пули разом продырявили портьеры. Одна пробила глаз на императорском портрете.

— Где подкрепление, полковник? Мы окружены! — Полковник был невозмутим и продолжал водить указкой: "Согласно свежим данным, японцы далеко. Позицию не оставлять!"

Штабные офицеры крутили пальцем у виска и тихо выползали из вагона. Оставшиеся с нами стреляли по наступающим из мосинских трехлинеек, демонстрируя чудеса меткости... Впрочем, японцы ползли невзирая на потери... их тела усевали откос, но куда там!

Патефон играл прощальный вальс; полковник, оттопырив локоть, глотал очередной коньяк. Седая борода, вся грудь в медалях, остекленелый взгляд. — Полковник!!! — Он не ответил.

Я понял, что мы пропали. И точно, японцы поднялись на приступ. Дальнейшее несложно было предугадать. Шальные пули нас добились.

В салон ворвался унтер Марухито, волоча тяжелый самурайский меч и с истошным криком отрубил лежащим москалям головы. Вагон-отстойник под Мукденом стал их общей могилой.

ПТИЦЫ НАД СРЕДНЕЙ АЗИЕЙ

На грани осени, когда слабеют силы, они слагают полномочия и устремляются на Юг: бичи и бомжи, бозы, попросту бродяги... Точно жуки и тараканы, они стекаются в Ташкентский госприемник лиц без роду-племени, без места жительства и чести.

Кто эти люди? — Заведомое дно Империи... известный бомж Иван Безродный, романтик и пропойца Н., технолог, потерявший веру в справедливость, беспамятная старая Авдотья, мордовка из Уфы, — они устали ждать, когда "все это" кончится, и сделали свой выбор.

Средь горемычных сих немало разных этносов, однако же — больше русских... курносые, рябые, из волжских деревень, из промысловых мест — они стекались в госприемник, давились курагой, вдыхали дым костров кизячных — и ждали.

За ними — жизнь союзная, рябая... субботники, летучки, понуканья. Убогие хибары, лозунги, значки отличников... седая каша будней — каждодневной смерти.

Приемник — тоже смерть, но с видом на бессмертие. Согласно старому поверью, кто умер в госприемнике Джафарова, назад не возвратится. Особые ходы судьбы, потоки воздуха ведут

умерших прочь — к вершинам Гиндукуша, Стране семи морей, а также к Пику Чести. Там есть момент бессмертия — зона X. Вот эта перспектива держит их в приемнике.

■

Итак, они обосновались в общей камере, на земляном полу, вповалку. Параша — во дворе, вода — в бидоне. Побудка в 5 часов. Весь день — уборка территории, присяга верности, коленипреклоненья... Они еще поют во славу Завприемника, но все их мысли — уже в пути.

■

Идет сознательное, медленное умиранье. Они выходят на проверку, тужатся, работают, но это — жмых их тел... Кончается запас лепешек, кураги, кок-чая... тощат плоть и крепнет дух. Старуха Изергиль на полке шепчет: "Давай же, смерть!"

■

И вот Она является... не чучело с косою, а молодая дева... подмигнула оком, и все пошли... Тела лежали на полу, на нарах, а души топали во двор, там строились в косые клинья, молились всем пернатым силам, одним рывком сигали через тын и подымались над полями Средней Азии, прорвав туманный саван заблуждений. Их курс — Тянь-Шань.

■

Итак, они перелетают тын... слабейшие цепляются крылами... их ловят, но они бегут, пищат и падают в пыли. Другие — устремляются наверх, используя прямое окисление жиров, теряют высоту и вновь летят... Способность к навигации растет, и быстро мыслить — тоже. Крепчают мышцы. Меняя геометрию крыла, они решают все проблемы на лету, включая дозаправку.

■

Куски гуано падают в арыки, но это — издержки... убогие дехкане наблюдают их полет, печально опершись на кирпичи... Суровые ученые сквозь телескопы также видят: их контуры, костистые тела, оскал зубов и блеск очей.

■

Летели днем и ночью... Все эти гуси, утки, пеликаны, айсты, кукушки, дрофы, пенки... широким фронтом, над низовьями, над высохшими руслами. Миграция не прекращалась.

■

Центр Азии... безводная пустыня. Вокруг — гряды великих гор. Как все это преодолевать, какой стратегии держаться пти-

цам? Наверное, они летят вдоль русел рек, оазисов, а горы либо облетают, либо... Но нет, не так!

Они форсируют препятствия и погибают. Один бекас влетел в турбину самолета, другой был сбит огнем зенитных батарей... Еще один герой был молнией сражен, а большинство пропало без вести и улеглось костями в степях безводных, клювами чирякая: Адьо...

Несчастные! Когда над перевалами ломали крылья, то думали: авось прорвемся! Счастливые! Когда их попросту сдувало с горных круч, им чудилось: авось не сгинем... и каркали: Вперед!

Отсев сих благородных птиц не мог пройти бесследно... когорты исказились, сбился ритм отмаха... оставшиеся восполняли кислород печеночным дыханьем...

И вот — сбылось... уже махали из последних сил, уже не знали, как... когда в сиянии вырос, блистая вечными снегами, Пик Чести. На нем сидит бухой орел Алеша, старинный ветеран движения бичей. Ободранный, кривой на глаз, он говорит: Добро пожаловать, бродяги! Сейчас — 17 склянок на Мировых часах. Вы вовремя успели...

...Радейте, братья! Вы одолели жизнь советскую, теперь вы выше... и вольны созерцать рождение снегов и эпицентры бурь, восходы и заходы солнца, а также тихое паренье облаков и гибель континентов.

Воистину полет опасен! Он недоступен сонным птахам: прорыв сквозь волю-непогоду к мерцающим становищам очей. Но кто достиг, тот трижды честен: он честен как безликий пан, он честен как лицо без места жительства, он честен как пловец... Мы, обездоленные нищие пловцы добились своего и вырвались наружу. Отныне — мы во власти новых дел!

Москва

Тимур Кибиров

Из книги "ОБЩИЕ МЕСТА"

Посвящается Людмиле Кибировой

(Из цикла "Ой, рябина, рябинушка")

Прости меня, Мальчиш Кибальчиш босоногий,
безногий Мересьев, прости!
По тундре, по тундре, железной дороге
от вас я пытался уйти.

Ах, девушка наша в солдатской шинели!
Прости, дорогая, меня!
Гремела атака, и пули свистели.
Я так испугался тебя!

Орленок, орленок! Прости ради Бога!
Тебя называл я орлом!
Я так испугался железных потоков,
я в погреб забился молчком.

Я видел – Мальчиш Кибальчиш куролесил,
он вел Плохиша на расстрел,
Мересьев восторженно щелкал протезом,
глазами он Берию ел!

Я видел, я слышал: как пули свистели,
как нас отправляли в расход.
И девушку нашу в солдатской шинели
ругал я по матери в рот.

Орленок, орленок! Кровавую пищу
клевал ты, дурак, под окном.
Я струсил, я струсил, к тебе я не вышел,
я в погребке злился тайком.

И хапал Князь Тьмы эти бедные души.
Я отдал сих малых ему.
Я струсил, я струсил. Завет я нарушил,
я сам себя запер в тюрьму!

Я продал тебя, Кибальчиш мой убогий,
Мересьев, я предал тебя!
Я струсил, не встал я у вас на дороге,
не дал вам услышать меня!

Ах, девушка наша! Под этой шинелью
не видел я груди твои,
не взял тебя в ночь, где так сладостно пели
в кустах над рекой соловьи.

Орленок, орленок, мой бедный товарищ,
я так виноват пред тобой!
За все, что ты сделал, достоин я кары,
прости меня, дурень родной!

Пока я бежал в направлении к Свану
и в погребке темном дрожал,
вы стойко сносили мученья и раны,
и черт вас, невинных побрал.

Мальчиш Кибальчиш! Как ты смело ответил,
в лицо буржуинам сказал:
Меня вы не сломите, сукины дети!
И гордое слово сдержал.

Пилот мой! Конечно, ты не настоящий,
почти что и не человек!
Но как же плясал ты на кровоточащих
культях — не забыть мне вовек!

И девушка наша в солдатской шинели
горящей Каховкой идет.
И теплые груди пробиты шрапнелью,
но рот "Варшавянку" поет!

Орленок, орленок! Не хочется думать,
но сына ведут на расстрел...
Я в погребке темном рыдаю бесшумно
о тех, кто безумен и смел...

Ведь я виноват в их безумии диком,
и в том, что я сам трусоват.
Могилы покроются красной гвоздикой.
Ничто не вернется назад.

Не в силах я выйти к сим малым и глупым,
кровавым, усталым: плохим,
их вновь призывают бесстыжие трубы,
а я притворяюсь глухим...

Орленок, орленок! Душманской гранатой
от сопки ребят отмело.
И мертвые губы шепнули: Гренада,
Гренада моя... Вот и все.



(Из цикла "Когда был Ленин маленьким")

"Игрушками он мало играл, больше ломал их. Так как мы, старшие, старались удержать его от этого, то он иногда прятался от нас. Помню, как раз, в день его рождения, он, получив в подарок от няни запряженную в сани тройку лошадей из папье-маше, куда-то подозрительно скрылся с новой игрушкой. Мы стали искать его и обнаружили за одной дверью. Он стоял тихо и сосредоточенно крутил ноги лошади, пока они не отвалились одна за другой".

А.И. Ульянова. "Детские и школьные годы Ильича".
Детгиз, 1947, с. 6.

Ах, Годунов-Чердынцев, полюбуйся,
с какой базарною настойчивостью Муза
Истории Российской предлагает
сестрице неразборчивой своей,
столь падкой на дешевку Каллиопа,
свои аляповатые поделки:

Эх, тройка, птица-тройка! Кто тебя
такую выдумал? Куда ты мчалась, тройка?

То смехом заливался колокольчик,
то плачем, и ревел разбойный ветер,
шарахались и в страхе столбенели
языки чудные, и кнут свистел, играя.

А немец-перец, колбаса с линейкой
логарифмической смотрел в окно вагона
недоуменно... Эх ты, птица-тройка!
Куда ж неслась ты, Господи спаси?
И не было ответа. И не будет
уже. Кудрявый мальчик усолобый
последнюю откручивает ножку.
Нет, мы пойдем другим путем!.. Как странно...
Не лучше ль было ехать в пироскафе?
иль в парохде — в чистом поле, все быстрее,
чтоб ликовал народ и веселился весь...

(Из цикла "Ой, рябина, рябинушка")

У ДОРОГИ ЧИБИС

Д. Н.

Петляющей тропкой меж сосен
иду я погожим деньком.
Пронизана солнцем, стрекочет
родная природа кругом.

Пахучим теплом овеивает
меня ветерок озорной.
Вон быстрая белка метнулась
и спряталась в хвое густой.

И из лесу выйдя, вступаю
я в море раздольное ржи.
Приветливо мне улыбнулся
седой землемер у межи.

Привет вам, родные просторы,
речушка, овраги, стога,
коровы на поле зеленом,
в густой синеве облака,

цветы полевые России,
проселок в прогретой пыли.
И чибис поет у дороги.
Свои мы, пичуга, свои!

Из кузова встречной машины
девчата мне машут рукой.
И, с песней веселой шагая,
иду я сторонкой родной.

Иду я и вижу, что дальше
стоит КПП на пути.
Сержантик с начищенной бляхой
велит мне к нему подойти.

Он паспорт мой долго листает,
являясь отличным бойцом.
И штык направляет в живот мне,
и пристально смотрит в лицо.

И вот он командует резко —
А ну, хенде хох и вперед!
И плацем пустынным, бетонным
меня он куда-то ведет.

Выходим мы с ним на тропинку,
меж сосен высоких идем.
Пронизана солнцем горячим
стрекочет природа кругом.

Вспотевший мой лоб овевает
прохладой пустой ветерок,
и смотрит на нас из-за веток
пугливый и мелкий зверек.

И, из лесу выйдя, вступаем
мы в море колхозное ржи,
и из-под ладони глазеет
на нас землемер у межи.

Проходим мы мимо оврагов,
речушки, стогов и коров
под синим, сияющим небом.
О, край мой родной, будь здоров!

*И чибис поет у дороги.
Свои мы, пичуга, свои!
Девчата из кузова смотрят.
Волочатся ноги в пыли.*

*И вот КПП. И сержантик
с блестящею бляхой стоит.
И, штык направляя в живот нам,
на нас он сурово глядит.*

*И вот конвоир мой погоны,
ремень и оружие сдает.
И вот нам обоим команда —
А ну, хенде хох и вперед!*

И, плац миновав гарнизонный,
втроем мы меж сосен бредем.
И вновь безучастно природа
зудит и стрекочет кругом.

И, из лесу выйдя, вступаем
мы в море неубранной ржи.
И рот разевает слюнявый
на нас землемер у межи.

Овраги, стога и коровы.
Речушка сияет, как ртуть.
Испить бы водицы, конвойный!
Свалиться бы в пыль и уснуть!

И чибис поет у дороги.
Свои мы, ей-богу, свои...
Из кузова девки хохочут
над нами... И снова пришли

мы на КПП, и сержантик
вновь смотрит и блещет штыком.
И вот через плац бесконечный
уже вчетвером мы бредем.

И снова тропинка меж сосен.
Начальник, позволь закурить!
И полем, проселком... За что же
нас всех землемер материт?

Да ты пристрели лучше, сволочь!
Волочатся ноги в пыли.
И чибис поет у дороги.
Свои мы, свои мы, свои!!!

И вновь КПП. И в колонну
построил нас новый сержант.
И вот впятером мы шагаем.
Эх, братцы, куда ж нам бежать.

И тропкой меж сосен, и полем,
родною своею землей.
Конвойный, куда ты ведешь нас?
Подумай своей головой!

И чибис поет у дороги.
Свои мы, пичуга, свои!
И вот КПП. И сержантик
велит нам к нему подойти.

И вот вшестером по тропинке,
и вот всемером, ввосемером,
десятком, толпою, всем миром
куда-то друг друга ведем...

Плывут облака над рекою.
И рожь золотая растет.
Пугливая белка глазеет.
И чибис поет и поет.

(Из цикла "Когда был Ленин маленьким")

"Любил маленький Володя ловить птичек, ставил с товарищами на них ловушки. В клетке у него был как-то, помню, реполов. Не знаю, поймал он его, купил или кто-нибудь подарил ему, помню только, что жил реполов недолго, стал скучен, нахохлился и умер. Не знаю уж отчего это случилось, был ли Володя виноват в том, что забывал кормить птичку или нет. Помню только, что кто-то упрекал его в этом, и помню серьезное, сосредоточенное выражение, с которым он поглядел на мертвого реполова, а потом сказал решительно: "Никогда больше не буду птиц в клетке держать". И больше он, действительно, не держал их".

А.И. Ульянова. "Детские и школьные годы Ильича".

Лети же в сонм теней, малютка-реполов,
куда слепая ласточка вернулась,

туда, где вьются голуби Киприды,
где Лесбии воробушек, где Сокол
израненный приветствует полет
братишки Буревестника, где страшный
убитый альбатрос сурово мстит
английскому матросу, где в отместку
французские матросы на другом
таком же альбатросе отыгрались,
где чайку дробью дачник уложил,
где соловей над розой, где снегирь
заводит песнь военну, где и чибис
уже поет юннатам у дороги,
и где на ветке скворушка, где ворон
то к ворону летит, то в час полночный
к безумному Эдгару, где меж небом
и русскою землею льется пенье,
где хотят жить цыпленки, где слышать
малиновки ты сможешь голосок,
где безымянной птичке дал свободу,
храня обычай старины, певец,
где ряба курочка, где вьется Альциона
над батюшковским парусом, где свищут
во тьме ночей и ропщет Филомела,
где птица счастья выберет тебя,
где выше солнца подлетел орленок,
и где слепая ласточка слепая...

Лети туда, малютка-реполов,
ты заслужил бессмертие. Лети же!



(Из цикла "Прямая речь")

Посмотри же — Мересьев уже над Европой!
Помахав нам серебряным, звездным крылом,
беззаветно наш сокол растаял в родном
мирном небе Отчизны... Без страха и злобы

наблюдают за смелым полетом его
толстопузые бюргеры с кружками в пене.

Штраус легким смычком дирижирует в Вене.
И тирольки танцуют. И Кант ничего

знать не хочет. И, рокот моторов слыша,
Шиллер в небо глядит, улыбаясь светло.
Миллионы, обнимемся!.. И под крылом
самолета — химеры и шлюхи Парижа.

Машут летчику флагами, пьют и поют
Дидерот и Гаврош, и де Голль с Элюаром.
В поцелуях над Сеной застывшие пары
никуда из-под крыльев его не бегут.

И туманный встает Альбион. И в Гайд-парке
Свифт и Стерн задирают носы в небеса.
И гвардеец недвижно стоит на часах.
Целый ворох рождественских сладких подарков

мистер Пиквик в Кром-Еллоу везет. И уснул
клерк над книгой конторской. И плачет над книжкой
белокурая леди. И, видимо, лишку
сэр Уолтер хлебнул и не слышит он гул

в вышине. А с идейных высот этих страшных
наш пилот все разведает, но не разглядел
ничего. Только свастику он усмотрел
да уродов в цилиндрах, кровавых, клыкастых.

Кукрыниксов рисунки он видел, глаза
заливая священной блоковской злобой.
И связался со Ставкой Верховного, чтобы
дан был точный приказ, чтобы враз небеса

раскололись над этой зловещею бандой!
Чтобы им отомстить, чтобы шквальным огнем
рассчитаться за все!.. Все он машет крылом.
И томится. И ждет долгожданной команды.



В РАМКАХ ГЛАСНОСТИ (4)

Поверь, я первый встану на защиту!
Я не позволю никого казнить!
Я буду на коленях суд молить,
чтоб никому из них не быть убиту!

Я стану передачи им носить,
за колбасой простаивая сутки,
чтоб поддержать их дружескою шуткой,
я на свиданья буду приходить!

Я подниму кампанию протеста,
присяжных палачами заклеймлю!
Я действием судейских оскорблю!
Не допущу я благородной мести!

И я добьюсь, чтоб оправдали их,
верней, чтоб осудили их условно,
чтоб все они вернулись поголовно,
рыдали чтоб в объятиях родных!

И вместе с ними зарыдаю я.
И буду горд, что выиграл процесс я.
И это будет счастьем и прогрессом
немыслимым...

Скорей, скорей, друзья,
организуите Нюренберг! Иначе
не выжить нам, клянусь, не выжить нам!
За липкий страх, за непомерный срам...
Клянусь носить им, гадам, передачи.

ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ (3)

Шаганэ ты моя, Шаганэ,
потому что я с Севера, что ли,
по афганскому минному полю
я ползу с вещмешком на спине...
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Тихо розы бегут по полям...
Нет, не розы бегут, — персияне.
Вы куда это, братья-дехкане?
Что ж вы, чурки, не верите нам?..
Тихо розы бегут по полям...

Я сегодня сержанта спросил —
как сказать мне “люблю” по-душмански.
Но бессмысленным и хулиганским,
и бесстыжим ответ его был.
Я сегодня сержанта спросил.

Я вчера замполита спросил,
“Разрешите, — спросил, — обратиться?
Обрядить в наш березовый ситец
Гулистан этот хватит ли сил?”...
Зря, наверно, его я спросил.

Шаганэ-маганэ ты моя!
Бензовоз догорает в кювете.
Мы в ответе за счастье планеты.
А до дембеля 202 дня.
Шаганэ ты, чучмечка моя.

Шаганэ ты моя, маганэ!
Там на Севере девушка Таня.
Там я в клубе играл на баяне.
Там Есенин на белой стене...
Не стреляй, дорогая, по мне!

И ползу я по этому полю —
синий май мой, июнь голубой!
Что со мною, скажи, что со мною —
я нисколько не чувствую боли!
Я нисколько не чувствую боли...

(Из цикла “Прямая речь”) (Из ци

Ближе к югу в купе постучится кавказец
златозубый небритый и в кепке обширной.
Притворяясь немым, он разложит пред вами
календариков веер.

Выбирай же — на глянцевой фотобумаге
с негативов кустарных, нечетких, размытых
отпечатаны образы чайний наших
и надежд потаенных.

Вот Высоцкий с разинутым ртом и гитарой,
маршал Жуков и генералиссимус Сталин,
вот едва различимые сиськи и письки
баб каких-то безликих.

Вот из фильма индийского Зита и Гита.
Вот и все. Выбирай же чего тебе надо.
Рубль за штуку. Лишь голые бабы дороже
ровно вдвое, товарищ.

Ты стоишь на распутье и думаешь думу,
по какой же дороге спастись тебе бегством
от барачного, от стенгазетного бреда,
от тоски ретрансляций.

Выбирай же любую дорогу, товарищ!
Уходи же от официоза в подполье.
Чтобы выжить, чтоб точку опоры нащупать
среди скуки и смерти.

Пусть Высоцкий споет про войну и про пьянку,
и про то, что начальники наши плохие,
мы ж зато — штрафники, иноходцы, шоферы,
волки, бля буду, волки!

Пусть наполнят восторгом тебя бескорыстным
маршал Жуков и генералиссимус Сталин,
пусть напомнят, что ты этой силы частица,
мощи нашей державной!

Пусть же ноги раздвинут заморские шлюхи
пред тобою, пока в кулаке ты сжимаешь
тела часть, все еще не склонившую долу
своей бурной головки!

Пусть индийки восточные еладости нежно
и невинно тебе поднесут с похмелюги,
пусть они потанцуют, споют тебе, парень,
пусть слеза навернется!

И не ссы, забирай, призывник их с собою,
пусть накажет тебя политрук неразумный —
там, в ущельях душманских, удушливых, дух твой
эти фотки поддержат!

Ибо это, конечно, подполье, но то-то
и оно — в нем у нас не заложена мина!
Там фундамент, оплот нерушимый, основа!
Диалектика, братец.

Так бери же с собою в дорогу, служивый,
календарики эти... Но нынче новинка
появилась в ассортименте немого —
Богоматерь с Младенцем.

С этой карточкой дело, конечно, сложнее...
Впрочем, что уж там. Это ведь наше, родное,
наша синепетличная церковь. Сгодится
даже это, товарищ.

ИЗ ПОЭМЫ "ПЕСНИ СТИЛЯГИ"

2. Песнь о сервилате

Придается все. Лишь тебе не дано приесться!
И чем меньше тебя в бытии, тем в сознании все выше,
тем в сознании граждан все выше
ты вознесся главой непокорной — выше
всех курганов Малаховых, выше, о, выше
коммунизма заоблачных пиков...

Хлеб — наше богатство.

Хлеб — всему голова. Но не хлебом единым
живы мы, не единым богатством насущным.
Нет! Нам нужно, товарищ, и нечто иное,
трансцендентное нечто, нечто высшее —
свет путеводный, некий образ, символ —
бесконечно прекрасный и столь же далекий,
и единый для всех — это ты, колбаса, колбаса!

Колбаса, колбаса, о салями, салями!
О, красивое имя, высокая честь!

И разносится весть о тебе депутатами съезда
по просторам Отчизны, и в дальнем урочище, и на Украине,
о тебе узнают и светлеют душою народы.
Стоит жить и работать, конечно же, стоит!
Есть бороться за что!

И от зависти черной жестоко корежит
англо-сакса, германца и галла.
Нет у них идеалов, и не будет —
пока не придут к нам смиренно
поклониться духовности нашей!

О этнограф, философ, историк, взглядишь же!
Изучи всенародную эту любовь, эту веру, надежду.
Не находишь ли ты, что все это взросло из глубин,
что сказались в явлении этом не только (и даже не столько)
достиженья XX-го бурного века,
сколько древние силы могучей земли, архетипы
духа нашего древнего! Может быть, ныне
Возрожденья свидетелем можешь ты стать, Возрожденья
в этих скромных обыденных формах (о, салями, салями!)
культы Фаллоса светлорожденного, культы языческой радости,
праздника жизненных сил,
христианством жидовским сожженного. И наконец-то
окончательно мы избавляемся от угнетенья,
от тиранства несносного... О, сервилат!
Дай нам силы в борьбе, укрепи наши души!
О, распни Его на хуй, распни Его, суку... Светлее,
все светлее, и все веселее. И вовсе не надо,
чтобы каждому ты был доступен — профанация это!
Лишь избранные, чистые духом, прошедшие искус,
в тайных капищах в благоговейном молчаньи
причащаются плоти твоей...
Но профанам, но черни наивной позволено тоже
поучаствовать в таинствах — через подобья,
через ангелов светлых твоих, братьев меньших...

Лишь я,
только я, да и то не совсем, только я
не хочу тебя. Я не хочу тебя!! Я
запрещаю хотеть себе, я
креплюсь, я клянусь:
ты мне вовсе не нужен!!..
Я ложусь на матрац. Забываю про ужин.

Свет тушу и в окно устремляю глаза.
Летней ясною синью сквозят небеса.
Крона тополя темная густо лепечет.
Я лежу в темноте, не рыдаю, не плачу.
Я лежу в темноте, защититься мне нечем.
Я мечтаю дать сдачи, но выйдет иначе.
Только тополь лепечет.
Да слышно далече
пенье птицы.
Не может быть речи
ни о чем. Ничего не случится.

И опять:
сервилат, сервилат,
я еще не хочу умирать.
У меня еще есть адреса, голоса,
у меня еще есть полчаса...
Небеса, небеса. Колбаса.

2. Ветер перемен

Ускорение, брат, ускоренье.
Свищет ветер в прижатых ушах.
Тройка мчит по пути обновления.
Но безлюдно на этих путях.

Тройка мчится, мелькают страницы.
Под дугой Евтушенко поет.
Зреет рожь, золотится пшеница.
Их компьютер берет на учет.

Нет, не тройка, не дедовский посвист —
конь железный глотает простор!
Не ямщик подгулявший и косный —
трактор пламенный, умный мотор!

Формализм, и комчванство, и пьянство
издыхают в зловонной крови!..
Отчего ж так безлюдно пространство?
Что же время нам душу кривит?

Дышит грудь и вольнее и чище.
Отчего ж так тревожно в груди?

Что-то ветер злое свещет.
Погоди, тракторист, погоди!

Мчится, мчится запущенный трактор,
но кабина пуста — погляди!
Где же ты, человеческий фактор?
Ну куда же запрятался ты?

Постоянно с тобою морока.
Как покончить с тобой наконец?
Что ж ты бродишь всю ночь одиноко?
Что ж ты жрешь политуру, подлец?!..

Отвечал человеческий фактор.
И такое от стал городить,
что из чувства врожденного такта
я его не могу повторить.

А небес и печально и строго
вниз Божественный фактор глядел,
где по старой сибирской дороге
с ускорением трактор летел.

Горько плакал Божественный фактор
и в отчаянии к нам он взывал...
Тарахтел и подпрыгивал трактор.
Тракторист улыбался и спал.

ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ (1)

Край ты мой единственный, край зернобобовый,
мой ты садик-самосад, мой ты отчий край!
Я ж твоя кровиночка, колосочек тоненький!
Ты прости меня, прощай
да помнить обещаи!

Ты прости меня, прощай, край древесностружечный,
край металлорежущий, хозрасчетный мой,
ой, горючесмазочный, ой, механосборочный,
ой, ты, ой, лесостепной
да мой ты дорогой!

Ой ты, ой, суди меня, народно-хозяйственный,
социально-бытовой и камвольный наш!
Дремлют травы росные, да идут хлопцы с косами,
Уралмаш да Атоммаш,
да шарашмонтаж!

Литмонтаж, писчебумаж, да видимо-невидимо,
да не проехать — не пройти, да слыхом не слыхать.
Ах, плодово-ягодный, ах, товаро-денежный,
ах, боксит, суперфосфат,
да полно горевать!

Да полно горе горевать, мать варяго-росская!
ТЬфу, жидомасонские, гады-говнюки!
Что ж вы, субподрядчики, сменщики, поставщики?
Что ж вы; поставщики,
дурни-дураки?

Эх, вы, дурни-дураки военно-спортивные,
грозные, бесхозные, днем с огнем искать!
Где же ваши женушки, где же ваше солнышко?
Хва, ребята, вашу мать,
да горе горевать!

Да полно горе горевать, золотые планочки,
об ромашечку стакашек — чок да перечок!
Спят курганы темные, жгут костры высокие,
придет серенький волчок
да схватит за бочок!

Придет черный воронок, ой, правозащитные!
Набегут, навалятся, ой, прости-прощай,
ой, лечебно-трудовой, жди-пожди, посасывай!
Бедненький мой, баю-бай,
спи, не умирай.

Придет серенький волчок, баю-баю-баиньки,
и дорожно-транспортный простучит вагон.
Заинька мой, зайнька, маленький мой, маленький,
вот те сон, да угомон,
да штопанный гандон.

Заинька мой, попляши, серенький мой, серенький!
Избы бедные твои, пшик да змеевик.
Край мой, край, окраина, краешек, краюшечка.
Совість бедная моя,
заветная моя.

Совість, совість, никуда не уйди мне, матушка.
Тут я туточки стою, агитпроп мне в лоб.
Здравствуй, здравствуй — я пою, а во поле чисто.
Чисто во поле, дружок.
Зайка скок-поскок.

(Из цикла "Когда был Ленин маленьким")

Бегал он рыбу ловить на Свягу (речка в Симбирске), и один его товарищ рассказывает о следующем случае. Предложил им кто-то ловить рыбу в большой, наполненной водой канаве поблизости, сказав, что там хорошо ловятся караси. Они пошли, но, склонившись над водой, Володя свалился в канаву; илистое дно стало засасывать его. "Не знаю, что бы вышло, — рассказывает этот товарищ, — если бы на наши крики не прибежали рабочие с завода на берегу реки и не вытащили Володю".

А.И. Ульянова "Детские и школьные годы Ильича", Детгиз, 1947, с. 19.

Рука Рабочего Отечества спасла.
Что там ни говори эсдеки, а без роли
такой вот личности в истории все было б
иначе. Ведь уже была готова
Россия-мать на рельсы соскользнуть
буржуйские — и так бы и пошла!
По плоскости наклонной, так сказать,
по этому порочному пути
сопротивленья наименьшего. Искала б
себе, наверно, легкие пути
и загнивала б. Ах, как загнивала б!
И до сих пор бы ели ананас
и рябчиков жевали бы, и вряд ли
когда-либо прорыли в Беломор.
И с проституцией навряд ли б совладали б.
И безнаказанно бы жил себе Кровавый
царь Николай с супругой и детьми.
А ум, и честь, и совесть продолжали б
томиться в Шушенском! И наш Серафимович

глумленью подвергался бы циничных,
растленных модернистов. И, ей-богу,
пришлось бы Евтушенко выступать
в одесских кабаках... Подумать страшно!
А вот еще о чем подумать страшно,
но интересно — если б не рабочий
из ила вытащил его, а, предположим,
мужик? Мужик Марей или Платон?
А вдруг бы полюбил он, наш Ильич,
смиреномудрие и богоносность люда
сермяжного?

И опростился б он,
и в нищем виде исходил бы он Россию,
благословляя?

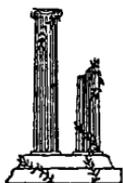
Ах, как это странно.

Или представь, что там купчина ражий
в бобровой шапке проходил бы? Или стройный
какой-нибудь корнет? Или в тужурке
студенческой какой-нибудь сынок
поповский? Словом, кто-нибудь из этих,
из своры псов и палачей? И стал бы
тогда наш Володенька кадетом.

И не был бы весны цветеньем он,
победы кличем... Ах, как это странно.
Как странно это все, если подумать.

Москва





Éditions

ATHENEUM

10 bis, rue Duhesme 75018 Paris
Tél. : 42.62.14.21

МИНУВШЕЕ. Исторический альманах. Вып.7. 500 стр.

Публикации материалов по русской истории XIX-XX вв.:

Воспоминания: М.Л. Свирской — о нелегальной работе ПСР в 20-е годы, о дружбе с С.Есениным и З.Райх; М.В. Канивез (вдовы Ф.Ф. Раскольниковы) — о советских дипломатических миссиях в Эстонии и Болгарии; О.Тиифа (последнего премьер-министра независимой Эстонской Республики).

К истории социалистических партий: Письма Е.М. Тимофеева из ссылки; документы ПСР времен революции и гражданской войны; интервью с меньшевиком Я.Мееровым.

Из истории партийной оппозиции: Письма ссыльных большевиков (Радек, Смирнов, Преображенский, Сосновский и т.д.).

Из истории «малой зоны»: Очерк И.Гольца о системе принудительного труда на воркутинских угольных шахтах; воспоминания О.Волина о ведущих сотрудниках Л.П. Берии, ставших сокамерниками автора во Владимирской тюрьме.

Из истории образования: Воспоминания М.Стоюниной; материалы о педагогической деятельности И.Анненского; письма В.И. Вернадского; беседа с П.Шарией (бывшим секретарем по идеологии Грузинского ЦК).

В мягкой обложке — 150 фр.фр.

В твердом переплете — 195 фр.фр.

Продается в издательстве Atheneum
и во всех магазинах русской книги.

ABC



Éditions

ATHENEUM

10 bis, rue Duhesme 75018 Paris

Tél. : 42.62.14.21

предлагает новую книгу:

МИНУВШЕЕ. Исторический альманах. Вып. 8. 500 стр.
В мягкой обложке — 150 фр.фр.
В твердом переплете — 195 фр.фр.

Публикации неизвестных материалов по русской истории XIX-XX вв.:

Воспоминания: Мемуары Н.И. Петровской о рождении и становлении символизма, об изд-ве «Гриф», о В.Брюсове, К.Бальмонтe, А.Белом и др.; ее письма берлинского периода (1922-26). Воспоминания И.М. Гронского о крестьянских писателях (Есенин, Клюев, Клычков, Орешин, Васильев), в приложении — рассказ П.Мансурова о самоубийстве Есенина.

Из истории литературной жизни: письма Б.Лившица, М.Цветаевой, И.А. и В.Н. Буниных, В.В. Набокова.

Литература и власть: Революция без литературы (спор Н.Н. Пунина и Л.Д. Троцкого). Хроника последнего года жизни О.Э. Мандельштама. Вокруг мемуаров Ильи Эренбурга (публикация в «Новом мире» и полемика с властями).

Из истории духовных течений в России: Вторая часть «интимной» автобиографии А.Белого.

Все публикации подробно откомментированы и снабжены научным аппаратом. Неизданные фотографии.

Вниманию заказчиков:

На складе издательства имеются 1-7 выпуски альманаха.

Цена каждого выпуска: в мягкой обложке — 150 фр.фр.
в твердом переплете — 195 фр.фр.

Книги продаются в издательстве Atheneum
и во всех русских книжных магазинах.



СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

<i>Бахыт Кенжеев.</i> Послания	3
<i>П. Вайль, А. Генис.</i> Книга о вкусной и здоровой жизни	23
<i>Андрей Мальгин.</i> Письмо другу-литератору	32
<i>Михаил Эпштейн.</i> Блуд труда	45
<i>Г. Померанц.</i> Принципы либерально: о мироустройства и традиции субэкумен	59

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

<i>В. Швейцер.</i> Мандельштам после Воронежа	69
<i>Б. Гройс.</i> Между Сталиным и Дионисом	92
<i>В. Кулаков.</i> Обзриу, модернистский гротеск и современная поэзия	98

ИЗБРАННОЕ

<i>Юлий Даниэль.</i> Обрывки воспоминаний	116
---	-----

В САДАХ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

<i>С. Довлатов.</i> Соло на IBM	138
<i>И. Померанцев.</i> Памяти полячишки	145
<i>Д. Добродеев.</i> Два конца	150
<i>Тимур Кибиров.</i> Из книги "Общие места"	171



Цена номера 65 фр.фр.

Подписка в редакции на 4 номера — 240 фр.фр.

Пересылка за счет подписчика.

